

# ИЗ НЕИЗДАННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БОЛОТОВА

Публикация И. Морозова и А. Кучерова

## I

### БОЛОТОВ-ПУБЛИЦИСТ

В помещичье-буржуазной историографии Болотовские записки неизменно пользовались репутацией одного из самых полноценных и содержательных памятников мемуарной литературы XVIII века. Уже при появлении на страницах «Сына Отечества» 1839 г. первых, сравнительно очень небольших мемуарных отрывков издатель, характеризуя в особом примечании их автора, спешил воздать «достойную память мужу добродетельному», жизнь которого оценивалась как «полезная, тихая и замечательная»<sup>1</sup>. Выход из печати еще ряда глав<sup>2</sup> дал повод к новому, более развернутому отклику, принадлежавшему А. В. Дружинину. «Нельзя не отдать справедливости почтенному старичку,—писал он,—за его умение рассказывать, за его ясную и спокойную речь, чуждую всяких претензий, чуждую сухих афоризмов,—речь, в которой будто отсвечивается все тихое, кроткое, безмятежное и полезное существование этого умного человека». А в другой раз, стремясь объяснить читателю, почему «Записки Андрея Тимофеевича Болотова должны занять видное место в ряду автобиографий русских людей», тот же автор высказался еще более красноречиво: «Автобиографии, т. е. повествования исторических и неисторических, любезных и нелюбезных лиц о происшествиях своей собственной жизни, с описанием своих мыслей и ощущений, всегда были любимым чтением людей с наблюдательным складом ума. Что может быть возвышеннее и поучительнее, как следить за жизнью и чувствами личности, или почему-нибудь обратившей на себя внимание потомства, или просто близкой к нам, вследствие закона, так прекрасно переданного Теренцием в своем стихе «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Этому симпатиею лучшего класса читателей к задушевной исповеди своих собратий легко объяснить причину, по которой словесность почти каждого народа богата многими автобиографиями»<sup>3</sup>. Такова классово четкая формулировка Дружинина.

Наконец издание М. И. Семевским полного (по крайней мере так он тогда думал) текста записок Болотова<sup>4</sup> ознаменовалось взрывом поистине безудержного восторга. Сам М. И. Семевский, рассчитывая на тех же «лучшего класса читателей», которых имел в виду и Дружинин, старался как можно выразительнее представить значение памятника, составляющего «одно из драгоценнейших достояний нашей исторической литературы». «Лучшие стороны этого рассказа,—читаем мы в его предисловии,—составляют необыкновенная искренность автора, любовь к правде и к дорогому отечеству. Болотов есть полный представитель лучших русских людей прошлого столетия. Большие природные дарования он развил упорным изучением наук и литературы как отечественной, так и иностранной, в особенности немецкой. Независимо от этого, это был человек прекраснейших душевных качеств: в записках его, как в зеркале, отражается его чистое прекрасное сердце. Отсюда эта теплота рассказа, эта правдивость, этот добродушный юмор»<sup>5</sup>.

По преимуществу узко-суб'ективная, личной симпатией или неприязнью окрашенная (вспомним «любезных и нелюбезных лиц» у Дружинина), опирающаяся прежде всего на моральный критерий, характеристика Болотова под пером наших авторов вряд ли кому покажется неожиданной: она в такой же степени закономерна, как и всякий другой пример классовой ограниченности домарксистской публицистики и историографии. Споры о том, заслужил ли Болотов эпитет «одного из образованнейших людей своего времени» или он «самый заурядный тульский поме-

щик, самым банальным образом судящий о людях и событиях. Критика его мелка и придирчива, понимание вещей и событий весьма заурядное<sup>6</sup>, — понятны в устах помещичье-буржуазных или либерально-народнических историков, по мнению которых, открыто высказанному одним из представителей их правого фланга, к концу XVIII в. в провинциальном дворянстве — «главная масса нашей тогдашней интеллигенции, от которой ведет свое и большинство современной нам»<sup>7</sup>. Для историка-марксиста решение исследовательской задачи должно в данном случае идти как раз обратным путем: прежде всего — классовый анализ, в свете которого только и могут быть осмыслены — также конечно подлежащие изучению — личные черты.

На недостаток материала для этого анализа пожаловаться никак нельзя. Литературное наследство Болотова огромно и до сих пор еще не может считаться приведенным в окончательную ясность. Наиболее полный, но для нашего времени устаревший обзор Болотовских (напечатанных и неопубликованных) рукописей дан в «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых» С. А. Венгерова<sup>8</sup>. Для нашей работы мы воспользовались текстами двух имеющихся в Ленинграде собраний: 1) архива Института Русской Литературы Академии Наук СССР и 2) Рукописного отделения Государственной Публичной Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина<sup>9</sup>, при чем сосредоточились на следующих рукописях:

1. В ИРЛИ — «65-ой год моей жизни или подробное описание всего происходившего со мною с 7 числа октября 1802 года» (неопубликованное продолжение напечатанных воспоминаний, еще не получившее однако окончательной литературной обработки; это — скорее подневные записки в типичной однако для Болотова форме писем).

2. В Г. П. Б. — 1) «Опыт нравоучительным сочинениям», 1764 г., 65 л. (копия). 2) «Забавы живущего в деревне или собрание разных мелких нравоучительных, сатирических, натурологических и других, отчасти важных, отчасти забавных сочинений, писанных в праздные часы для пользы и удовольствия себе и другим людям одним россиянином, сочинившим некогда детскую философию и разные другие книги», 1791 г., 304 стр.

3. «Современник или записки для потомства, ч. I», 1795, 416 стр.

4. «Собрание мелких сочинений в стихах и прозе» — 11 томов (с 1794 по 1824 г.).

5. «Записка о сравнительной выгоде крепостного и вольнонаемного труда» (черновик, начало которого утрачено), 44 л.

Из них всех до сих пор были опубликованы, насколько нам известно, только некоторые главы «Современника или записок для потомства» (в состав нашей публикации за единственным, особо оговоренным исключением конечно не входящие) (см. публикацию Н. Губерти в журнале «Библиограф» 1885 г., № 9, стр. 33—38, № 10, стр. 49—52; 1886 г., № 1, стр. 2—4, № 2, стр. 25—28; 1890 г., № 2, стр. 21—26, № 3—4, стр. 41—45, № 11, стр. 125—138, № 12, стр. 156—165).

Два слова о характере материала. Публицистикой печатаемые нами отрывки можно назвать лишь с некоторой оговоркой: автор предназначал их не столько для печати (хотя вообще кое-что в этом роде и было им издано)<sup>10</sup>, сколько на предмет собственного удовольствия и распространения среди знакомых (в «Записках» Болотова есть ряд указаний на то, что он снабжал соседей и приятелей рукописными томиками собственного производства). Но в этой ограниченной среде они конечно служили целям оформления определенной классовой психологии.

Болотов — средний по достатку провинциальный помещик, после недолговременного периода военной службы прочно осевший на земле, взявший непосредственно в свои руки ведение хозяйства и управление «крещеной собственностью» (в качестве ли владельца собственного имения или на ролях управителя чужими вотчинами — это для нас в данной связи не так существенно). Если учесть еще, что свою хозяйственную практику он стремился энергично пропагандировать путем литературных выступлений<sup>11</sup> и пытался даже обобщать в ряде работ принципиального характера, интерес к его экономической программе станет совершенно законным. Для Болотова на первом плане — призыв ко всемерной интенсификации помещичьего хозяйства. Именно здесь тот стержень, который пронизывает все Болотовские писания по сельскохозяйственным вопросам, связывая их в единую довольно стройную систему. Не говорим уже о буквально многотысячных, в своем роде тоже любопытных заметках и сообщениях на тему о мелочах практического улучшения «сельского домостроительства». Интереснее взять наиболее крупные работы, где все обогащающий опыт хозяйственной практики автора служит почвой для некоторых теоретических обобщений. В самом деле: приходится ли Болотову отвечать на вопросы Вольного Экономического Общества о хозяйственном положении родного Каширского уезда<sup>12</sup>, он не упускает случая подробно высказаться насчет того, какой ущерб сельскому хозяйству приносит «так называемая и толь вредительная

разнобоярщина и чрездесятинщина», а с другой стороны, радуется тому, будто «впрочем земледелие и домостроительство вообще получает час от часу некоторое приращение, а особливо в помещичьих домах, бесспорно от того, что многие помещики, просвещаясь науками и видя иностранных места, разные новые вещи и учреждения по возможности заводят». Ему же, убежденному «в рассуждении хлебопашества», что «сия важная часть сельского домостроительства не находится у нас еще в таком состоянии и совершенстве, в каком бы ей быть надлежало», принадлежат известные «Примечания о хлебопашестве вообще» с детальным анализом условий приведения его «в лучшее состояние, сколько от изобретения новых к тому поспешествующих способов, столько ж и от узания вкравшихся погрешностей и отвращения оных». Сочиняет ли еще через несколько лет Болотов по заданию того же Вольного Экономического Общества «Наказ управителю или приказчику, каким образом ему править деревнями в небытность своего господина» — для него бесспорно основная обязанность инструктируемого «состоит в том, чтоб чрез прилагаемые старания, во-первых, хлеба родилось больше», и в частности — чтоб земля «была надлежащим образом и как можно лучше уработана». Наконец, неудовлетворенный частичными улучшениями в деле обработки земли, наш автор выдвигает даже «общие и так сказать валовые отмены в хлебопашестве и в других частях сельского домостроительства, переменяющие все оно фундаментальное основание и приводящие его в отменное и лучшее состояние». Именно, он предлагает заменить рутинное трехполье модной в его время в Пруссии мекленбургской семипольной системой севооборота. «Хотя сим образом,—читаем мы в его статье «О разделении полей», где между прочим особенно восхваляются «в иностранных землях усердствующие общей пользе экономы»,—посев хлеба гораздо уменьшится, однако не произойдет от того никакого убытка, но паче хлеба родиться будет более, а сверх того произойдет еще та польза, что мы скота можем содержать более нынешнего, землю свою всю удабривать, да и сена еще с лугов гораздо более получать будем»<sup>13</sup>.

И потому, когда Болотову приходится подвести итог практической работы «относительно до экономии приватной или домостроительства сельского» к концу XVIII в., он, противопоставляя помещиков-новаторов в деле ведения хозяйства помещикам-рутинерам, сам безоговорочно и горячо приветствует первых. В неопубликованной главе его рукописи «Современник или записки для потомства» читаем: «Оное (речь идет о цитированной выше «экономии» или «домостроительстве») около сего времени было в нарочито уже хорошем состоянии: она начала уже со многих лет поправляться и со всяким годом, хотя и медленными и нескорыми шагами, но пришла в лучшее пред прежним состояние: повсюду размножились грамотные хозяева, способные к прочтению чего-нибудь и к предприятию чего-нибудь нового в своем домоводстве. Уже начинали мало-помалу отставать от прежних и единого только древности освещенных обрядов, обыкновений и предрассудков и предпринимать новые кой-какие в хозяйстве своем поправления и перемены, как например заводить у себя новые и чужестранные разные хлеба, семена, овощи, плоды и произрастения, делать некоторые перемены в хлебопашестве и земледелии. Однако все сии перемены и поправления, о которых впоследствии при других случаях упомяну подробнее, были еще так малочисленны и маловажны, что в сравнении со всею общою массою всего хозяйства и экономии в государстве почти ничем или очень малым почестья могут, а о сей массе вообще сказать можно, что она едва ли еще не в таком же точно состоянии находилась, какова была лет за 20 или за 30 до сего времени...»

В чем реальное обоснование столь отчетливой по своим установкам программы? Все возрастающая связь помещичьего хозяйства с рынком — вот стимул, определивший собою экономические построения Болотова. Мы не имеем здесь возможности, да и не находим нужным сколько-нибудь подробно аргументировать этот тезис. В нашей марксистской литературе уже дана характеристика Болотова как помещика, заинтересованного «в рыночных отношениях, в денежном превращении прибавочного продукта крепостного имения»<sup>14</sup>. К использованному С. Пионтковским материалу Болотовских воспоминаний и знакомого уже читателю «Наказа управителю или приказчику» имеет, пожалуй, смысл добавить еще один только штрих, тем более выразительный, что встречается он на страницах, где зарегистрированы наиболее достопримечательные в глазах автора факты близкой ему современности. Болотов пристально следит за рыночной конъюнктурой, чутко улавливая колебания цен на сельскохозяйственные продукты. Два из дошедших до нас его томиков — один напечатанный целиком, другой лишь в выдержках (при чем интересующие нас в данном случае отрывки остались неопубликованными)<sup>15</sup> — так и пестрят более или менее пространными замечаниями на тему о том, что «хлеб до сего времени был нарочито дешев, а теперь вдруг поднялся и стал дорожать весьма», или что

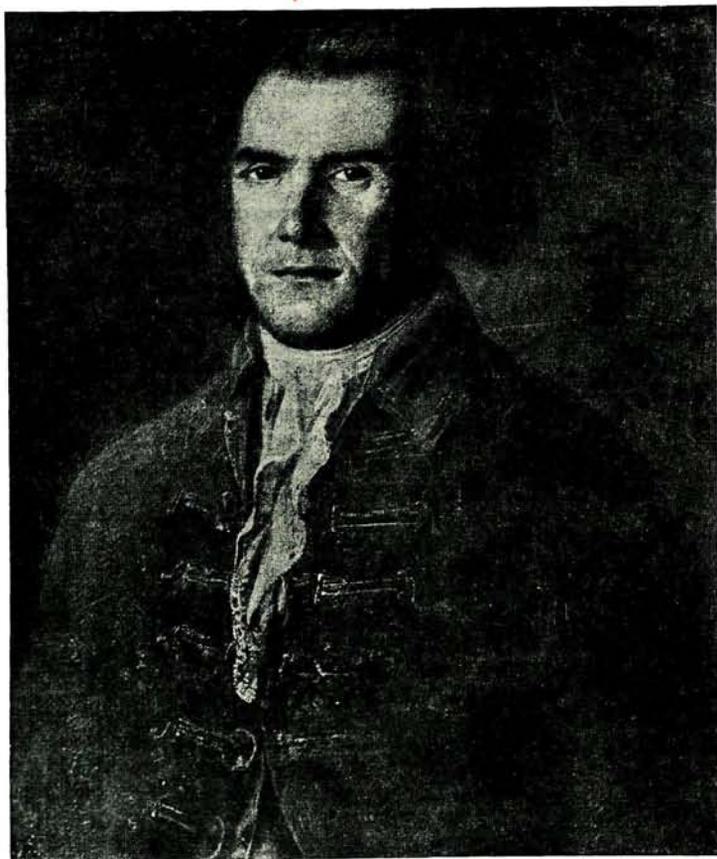
«цена хлебу всякому при начале сего года была хотя хорошая, но не слишком высока, и не такая, какую ожидали все по худому урожаю ржи в минувшее лето во всех наших степных хлебороднейших местах, и по худому умолоту гречихи в здешнем тульском наместничестве»... и т. д.

Характеристика экономической программы Болотова грозит однако оказаться бесхребетной, если мы не выясним главного: как представлялась ему, говоря словами Маркса, «та специфическая экономическая форма, в которой неоплаченный прибавочный труд высасывается из непосредственных производителей». «Каковы бы ни были общественные формы производства,—пишет в другом месте Маркс,—рабочие и средства производства всегда остаются его факторами. Но находясь в состоянии отделения одни от других, и те и другие являются его факторами лишь в возможности. Для того чтобы вообще производить, они должны соединиться. Тот особый характер и способ, каким осуществляется это соединение, различает отдельные экономические эпохи социальной структуры»<sup>16</sup>. Именно тут ключ к классовой характеристике Болотова. На основе какого особого способа соединения непосредственных производителей со средствами производства стремился он интенсифицировать собственное и призывал к интенсификации чужих помещичьих хозяйств? Ответ ясен: из всех Болотовских писаний выпирает явно крепостническое лицо их автора. Развиваемая Болотовым теория «сельского домостроительства» знает только прибавочный труд на основе внеэкономического принуждения; в практике собственного (или, что то же, ему подведомственного) хозяйства он избегает найма рабочей силы даже ценою чрезмерной перегрузки крепостных—вопреки своему же принципу рационального использования крестьянского труда<sup>17</sup>. Интенсификация хозяйства в сфере производственных отношений выражается у Болотова в интенсификации барщины и никоим образом не служит формой перехода на капиталистические рельсы. Вот почему, на наш взгляд, совершенно ошибочна установка тоже «марксистов» вроде В. В. Святловского, у которого Болотов фигурирует в разделе, озаглавленном: «Начатки аграрного капитализма в России»<sup>18</sup>. Трактовка Болотова как помещика, перерастающего в буржуа, тем более не выдерживает критики, что сам он позаботился оставить нам развернутое обоснование своей крепостнической программы. Мы имеем в виду записку о сравнительной выгодности крепостного и вольнонаемного труда, очевидно писанную в 1812 г. в ответ на соответствующую задачу Вольного Экономического Общества<sup>19</sup>.

Типично крепостническая установка Болотова-хозяина—не более как только отдельная грань того, что в целом служит выражением его помещичьей идеологии. Это целое у нашего автора достигает редкой законченности, ибо другие стороны классовой характеристики в данном случае до-нельзя удачно прилажены к очерченной нами исходной.

Тут естественно встает вопрос об отношении Болотова к крестьянам. Болотов отнюдь не зловещий персонаж во вкусе либерально-народнической историографии, у которой изображение личной жестокости отдельных оголтелых крепостников, как правило, заменяло собою классовый анализ феодально-крепостной формации. Известный нам «Наказ управителю» прежде многого другого требует «чтоб получаемые с деревень прибыли или доходы, старания о приумножении оных не обращались никогда во вред оным деревням». А на всем протяжении Болотовских записок не раз высказывается антипатия ко всякого рода мерам свирепой расправы с крепостными. Сообщив например «не только о бесчеловечии, но и о сущем варварстве одной нашей дворянской фамилии, жившей в здешнем уезде и делающей пятно всему дворянскому корпусу», автор добавляет: «Мы содрогались, услышав историю сию, и гнушались таким зверством и семейством сих извергов, так что не желали даже с сим домом иметь и знакомства никогда». В собственной практике Болотов, как оказывается, прибегал к строгим наказаниям лишь как к крайнему средству. «Будучи от природы,—рекомендует он себя читателям,—совсем не жестокосердным, а напротив того, такого душевного расположения, что не хотел бы никого оскорбить и словом, а не только делом, и не находя в наказаниях никогда ни малейшей для себя утехи, и видев тогда сущую необходимость оказывать жестокости и с сими бездельниками для унятия их от злодейств драться, терзался я от того досадою и неудовольствием. Но нечего было делать». Последняя фраза прекрасно раскрывает самую сердцевину психологии феодала-крепостника (картина тем более выразительна, что Болотов в культурном отношении стоит на много выше среднего уровня): для него и ему подобных расправа с крестьянами—нечто мало приятное, но, увы, неотвратимое. Неотвратимость эта весьма закономерно вытекает из убеждения, что «нравы и свойство нашего простого народа необходимо сей предосторожности требуют а средство к достижению до того—почти одно, состоящее

в том, чтоб первых виноватых, неупустительно без всякого лицепрятия и в страх другим как за послушание, так и за другие вины наказывать»<sup>20</sup>. А крестьяне действительно часто и довольно энергично оказывают сопротивление своему «от природы совсем не жестокосердному» помещику. «То множество волостных наших мужиков» досаждают Болотову «неотступными и почти наглými просьбами о снабжении их хлебом», то его дворовые—они конечно «оказались сущими злодеями, бунтовщиками и извергами»—вдруг возмущаются истязанием их отца и грозят зарезать барина, то наконец целая толпа крестьян под предводительством некоего «бездельника» Романа является с требованием о снижении оброка, и т. д. «Старшины, начальники и лучшие люди в деревнях»—те, по крайней мере, «беспристрастным, честным



А. Т. БОЛОТОВ

Портрет маслом неизвестного художника  
Русский Музей, Ленинград

и кротким правлением» Болотова, если верить ему, «весьма довольны». (Любопытный штрих к характеристике классового расслоения крепостной деревни). Зато «простые мужики» — «самые бездельники» — осмеливаются жаловаться на чрезмерное отягощение их работой. Отсюда ясно, что «все роды жестокости» появляются в обиходе даже у такого помещика, который, как сам он уверяет, «никогда не любил драться слишком много, а по нраву своему охотно бы хотел никогда и руки ни на кого не поднимать, если бы то было возможно». Порка, сажание в рогатки и на цепь, заключение в жарко натопленной бане, кормление селедкой без воды, вымазывание дегтем и пр. и пр. будничные эпизоды «мирной сельской, спокойной и уединенной жизни» в Дворянинове с простодушной невозмутимостью регистрируемые нашим мемуаристом<sup>21</sup>.

Однако эффективность такого рода «благотетельных» мер ограничена не слишком широкими рамками. Положим, что в «бунтовщичестве» и «воровстве» уличены два-

три «бездельника»: расправа с ними не представляет затруднений. Но если перед помещичьим крыльцом появляется «превеликая толпа народа»—дело уже сложнее: приходится в испуге прятаться за спины солдат. «Признаюсь,—через много лет вспоминает об этом неприятном инциденте Болотов,—что минута сия была для меня весьма критическая и было не натурально, чтобы я не мог (не) испужаться». Ну а как быть в тех случаях, когда «бунтование мужиков» принимает, так сказать, всероссийские масштабы?

Пугачевщине Болотов посвящает в своих воспоминаниях ряд ярких страниц. Эти страницы не только важный источник для изучения фактической истории движения (вспомним хотя бы известное описание казни Пугачева в гл. СХХVIII)<sup>22</sup>, они дают еще на редкость красочную картину помещичьих настроений перед лицом грозной по размаху казацко-крестьянской революционной борьбы. Беспечной самоуверенностью встретивший первые неясные пока слухи «о появившемся на Яике бездельнике-бунтовщике Емельке Пугачеве»—ибо «все смеялись только тогда дерзновению сего злодея и надеялись, что отправленные для усмирения его команды скоро все сие уничтожат и злодействам его скоро конец сделают»; слегка встревоженный «неприятными о сем предмете мыслями» при известии «о худых успехах посланных для усмирения его команд и о всех его злодейских деяниях»; проникающийся мрачным волнением после того, как «заговорили все и въявь о невероятных и великих успехах злодея Пугачева»; пораженный смертельным ужасом, когда разносится молва, что «злодей с своею сволочью уже недалеко и скоро дойдет и до нас сюда» и для помещика остается единственный выход: «уже не поискать ли где-нибудь в здешних больших лесах и не заметить ли самого глухого места, куда бы можно было, в случае крайней нужды, для спасения своего скрыться»; наконец в порыве классового торжества не упускающий случая присутствовать при казни Пугачева, так обстоятельно затем описанной,—Болотов достаточно трезво оценивает непримиримость противоречий крепостного строя, чтобы понять, «что вся подлость и чернь, а особливо все холопство и наши слуги, когда не въявь, так втайне, сердцами своими были злодею сему преданы и в сердцах своих вообще все бунтовали и готовы были при малейшей возгоревшейся искре произвести огонь и поломя»<sup>23</sup>. Недаром именно эту опасность грандиозного социального пожара при всяком сколько-нибудь серьезном преобразовании в крестьянском быту он чуть ли не 40 лет спустя после пугачевщины выдвигает как решающий аргумент в защиту крепостного права. Характерен при этом самый ход его аргументации. Стремясь при обсуждении вопроса о сравнительной выгодности крепостного и вольнонаемного труда оставаться на почве чисто экономических соображений, Болотов сначала сам считает вопросы классовой борьбы не имеющими прямого отношения к теме. «Я оставлю говорить,—читаем на 62 странице его записки,—и о тех многих разных бедственных и для всего государства опасных и даже ужасных следствиях, какие всего легче может произвести таковая, а особливо дружная и скоростижная перемена, могущая, судя по природному характеру и по нынешнему критическому и нравственному и душевному состоянию наших крестьян, потрясть все основания благоденствия государства и произвести необозримые последствия—то как материя сия не принадлежит собственно к нашему предмету, то умолчав о том, а предполагая, что прошла б она с миром и без всяких бедственных и опасных последствий, остановлюсь на вопросе...» И далее—переход к доказательствам хозяйственного порядка. Но иллюзорность «мирной перемены» слишком бьет в глаза. Наш автор очень скоро заменяет беспочвенные предположения трезвым учетом действительности, и тогда-то призрак гибельной гражданской войны превращается в главную опору крепостнической программы. Именно этот красочный отрывок записки мы и даем в публикуемых ниже материалах.

Предотвратить гражданскую войну можно только средствами хорошо организованного аппарата классового господства. Отсюда—естественность верноподданнических убеждений Болотова, который во всех своих писаниях выступает безоговорочным апологетом отечественного самодержавия. На страницах «Записок» много места отведено «учреждению о губерниях» 1775 г. Эта перестройка бюрократического аппарата Екатерининской империи, вызванная, как убедительно показал М. Н. Покровский<sup>24</sup>, прежде всего и главным образом задачами борьбы с крестьянским движением, опасностью рецидива пугачевщины, встречается в нашем авторе восторженного апологета. «Эпоха сия,—пишет Болотов,—была, по всей справедливости, самая достопамятная во всей новейшей истории нашего отечества и последствиями своими произвела во всем великие перемены»<sup>25</sup>. Этот отзыв—лишь один из штрихов, типичный однако для общей картины. В развернутом виде политические установки Болотова хорошо демонстрируются публикуемыми нами

главами «Современника или Записок для потомства», где автор дает, как мы ска-зали бы теперь, обзор международного и внутреннего положения России к концу XVIII в. Патриот помещичьего отечества, в порыве острой классовой ненависти обрушивающийся на «бунтовщиков, безбожников и наинегоднейших людей», которые захватили верховную власть во Франции, смертельно боящийся, как бы «французские сумасбродства» не проникли на отечественную почву (и приводящий любопыт-ные факты такого проникновения),—таким представляется здесь наш благонаме-ренный литератор.

На дело укрепления феодально-крепостного режима и возвеличения самодержав-ного государства должны быть, по мысли Болотова, мобилизованы в числе прочих сил и средства идеологического воздействия. Говоря например о Державине, который кажется ему «наилутченким из нынешних наших пиитов», наш автор при-зывает «радоваться, что при нынешнем толико славном для России периоде времени были люди и пииты, могущие петь славные дела Екатерины и ее подданных»<sup>26</sup>. Такой же классовой цели (хотя—подчеркиваем это сугубо—в совершенно других формах проявления) служила, как увидим ниже, и условно называемая нами публицистической литературная продукция Болотова.

Домарксистская историографическая традиция умиленно повествует о том, что Болотов еще от отца унаследовал «лучшие заветы эпохи преобразований—любовь к труду, уважение к иностранной культуре, веру в книгу и науку», что под влиянием столь благодетельного наследства он на всю жизнь стал «страстным книж-ником»<sup>27</sup>, и т. д. и т. п. Болотов действительно читал и писал неизмеримо много. И не только со времени обоснования своего в Дворянинове, где самая обстановка знакомой нам «мирной, сельской, спокойной и уединенной жизни» могла распола-гаться к литературным занятиям. Годы военной службы у него также заполнены книгочтением и книгописанием в гораздо большей мере, чем боевыми упражнениями. Книге неизменно посвящалась его первая мысль при вступлении в новый ост-зейский или прусский город; книгу вез он «всегда в кармане», чтобы чтением запол-нять кратковременные привалы на походе, при чем читал иногда сидя на лошади; а в Кенигсберге, где «превеликая склонность к книгам» нашла себе особенно злач-ную почву, Болотов даже «буде захаживал кой-когда в трактиры, на дороге стоя-щие, так не для чего иного, как разве для чтения газет»<sup>28</sup>.

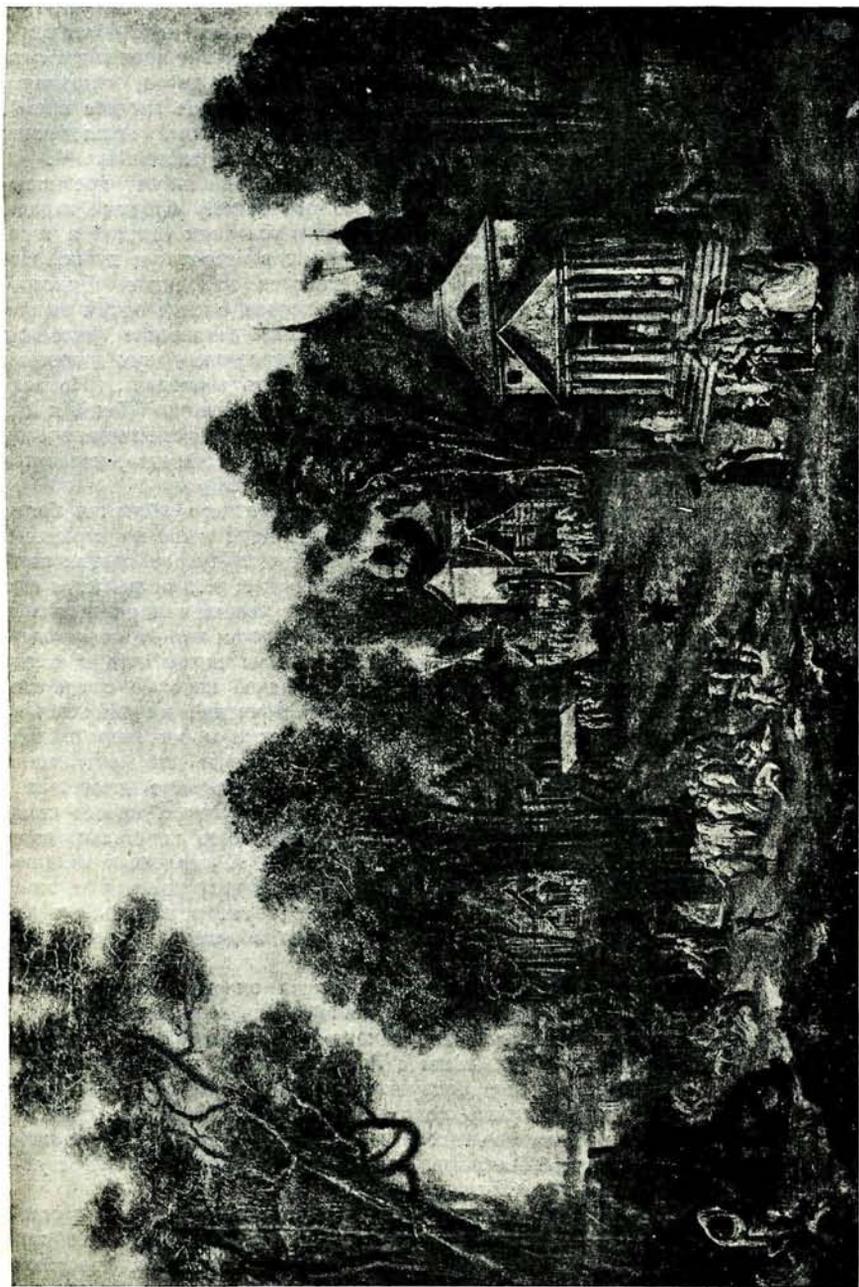
Однако простой констатацией того факта, что Болотова «снедала любовь к книге», вопрос о характере идейной и направленнойности нашего автора не только не исчерпывается, но в сущности оставляется незатронутым. Для решения этого вопроса очевидно необходимо установить, какие же книги читал по преимущ-еству Болотов и, главное, как он прочитанное расценивал.

В старой исторической литературе уже была сделана попытка характеризовать круг Болотовского чтения на основе указаний, разбросанных по страницам его записок<sup>29</sup>. Отсылая читателя за фактическими деталями к этой сводке, мы очень коротко наметим здесь лишь ведущие звенья темы.

На первом этапе сознательной жизни—до пребывания в Пруссии—Болотов успел зарядиться хорошей порцией религиозности. Правда, еще с детства он имел воз-можность познакомиться и с увлечением перечитать ряд французских—иногда даже «прямо можно сказать любовных»—романов, но не им, как увидим ниже, принадле-жала руководящая роль в деле выработки его мировоззрения. «Камень веры» С. Яворского—вот книга, ставшая камнем веры Болотова. «Я прочитал ее,—гласят «Записки»,—в короткое время с начала до конца и получил чрез нее столь многие понятия о догматах нашей веры, что я сделался почти полубогословом и мог уди-влять наших деревенских попов своими рассказами и рассуждениями, почерпну-тыми из сей книги». К этому присоединилась не менее внимательная проработка «Четых-Миней» «и даже списывание из них наилучших и любопытнейших житиев некоторых святых в особую и нарочно сделанную для того книгу». «Чтение сие было мне сколько увеселительно, столько ж и полезно,—говорит Болотов.— Оно посеяло в сердце моем первые семена любви и почтения к богу и уважения к христианскому закону, и я, прочитав книгу сию, сделался гораздо набожнее про-тив прежнего»<sup>30</sup>. Контуры религиозного мировоззрения оформились таким образом у нашего автора уже в половине 50-х годов.

За границей Болотов непосредственно познакомился с тем, что у его биографов— между прочим и у Е. Щепкиной—обычно именуется суммарным и потому туманным термином «иностранная культура». Но сама же Щепкина в другой своей статье убедительно раскрывает односторонний характер воспринятых Болотовым в Пруссии культурных влияний. Наш автор, если судить по его позднейшим воспоминаниям, горячо (хотя совсем не глубоко) увлекался тогда учениями религиозных мыслителей

(Гофман, Крузиус), религиозно настроенных эстетиков (Зульцер), мирно лавивших с религией рационалистов (Вольф, Готтшед)<sup>31</sup>. Французское же просветительство — подлинно боевое оружие поднимающейся буржуазии на идеологическом фронте — в частности материалистическая философия и «бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину публицистика старых атенстов XVIII в.»<sup>32</sup> отнюдь не встречали его сочувствия<sup>33</sup>. Повторяем: если судить по позднейшим воспоминаниям Болотова, Е. Щепкина основательно заподозривает их в тенденциозности, считая, что автор «намеренно умаляет в своих записках влияние французского просвещения перед влиянием немецким». Действительно, присматриваясь к истории кризиса веры, пережитого Болотовым в Кенигсберге, можно предполагать (но только предполагать) наличие тут более радикальных влияний, чем те, которые приведены мемуаристом. «Автор придает большое значение этой эпохе внутренней борьбы, а между тем говорит о ней неясно и сбивчиво; но записки писались главным образом для наставления потомков, поэтому может быть он и старался отклонить от юношества излишне ясное представление о соблазнах и смущениях, которые им овладевали»<sup>34</sup>. Таково мнение Е. Щепкиной — быть может и справедливое, но которое документально аргументировать мы пока не в силах. Однако гораздо существеннее другое: самый кризис был не слишком глубок и вскоре закончился радикальным излечением в духе исконной приверженности «к богу и к святому его откровенному закону». Крузиус с его религиозно-философской проповедью «в состоянии был, — вспоминает Болотов, — вывести меня из помянутого наимучительнейшего состояния и положить первое основание всему воздвигнутому потом твердому и такому зданию моей веры, которое ничто уже поколебать не могло и чрез все то не только успокоить мой дух, но и подать повод к бесчисленным удовольствиям и неоцененным минутам в жизни»<sup>35</sup>. А что «здание веры» нашего автора уже к середине 60-х годов стало вполне твердокаменным, — этому есть документальные доказательства. Имеем в виду дошедший до нас «Опыт нравоучительных сочинениям». Для помещичье-буржуазного историка рукопись эта представила бы удобный повод к рассуждениям на тему о росте культуры личности, тонкости психологического анализа и т. п. Нетрудно однако заметить, что вышеупомянутая личность анализирует здесь собственное нутро (например в главе «О гневе») под углом зрения строго религиозных установок. Публикуемый нами материал этого сборника весьма отчетливо рисует Болотова воинствующим адептом религиозной ортодоксии. Любопытнее однако здесь другое — неприкрытое стремление нашего автора использовать религию, как и всякую другую форму идеологии, для защиты и обоснования определенных классовых интересов. Столь же откровенно утилитарный взгляд на религию характеризует и другие, в подавляющей массе неопубликованные Болотовские писания. По мысли Болотова божий промысел — неизмеримый вершитель судеб человеческих. Его вмешательством он в записках объясняет все свои жизненные успехи и неудачи (последние сплошь да рядом оказываются призрачными — по словословице «не было бы счастья, да несчастье помогло»), а среди знакомых читателю «Мелких сочинений в стихах и прозе» есть даже специальное письмо «О бдении промысла Господня над жизнью человеческою», где автор, пересказав ряд удивительных случаев из собственной жизни с очевидным участием «невидимой руки господней» (они затем повторены и в записках), заключает: «все сие доказывает, что око всемогущего бдит всегда над жизнью смертных и что истина есть вечная, святая и непреоборимая, что без воли и попущения его не может погибнуть ни один волос с главы нашей. А сие не обязывает ли нас священным долгом сие во всякое время помнить и почитать особенною его к себе милостию и вследствие того ежедневно благодарить его сердцем и душою нашу за сохранение нашей жизни, которая и без всех больших и явных опасностей, случающихся с нами, так ненадежна, что легко может от тысячи неизвестных и нами нимало не усматриваемых причин, как паутина прервана: и мы все живем в таком критическом положении, что никто в свете не может с достоверностию поручиться в том, чтоб мы дожили верно до конца того дня, который жить начали, и уверить нас в том совершенно». Обращение к богу в «критическом положении» тем естественнее, что «око всемогущего» смотрит на мир сквозь помещичьи очки. Самый факт классового расчленения общества освящен авторитетом божественного произвола, ибо «в его воле, — как поучает старик внука, беседа «о том, что нужно знать человеку о своем происшествии и нужнейших вещах до его юности», — состояло и от совершенного его произвола зависело и то, чтоб назначить тебе родиться хотя и в нашей стране, но от родителей самого низшего, рабского и подлого состояния и весь свой век проживающих в нужде, в работе, величайшей скудости и терпящих несметные отягощения и труды и не имеющих никаких дальних отрад и удовольствий в жизни.



ДЕРЕВЕНСКАЯ СЦЕНА

Картина маслом И. М. Тайкова (1784 г.)  
Третьяковская Галерея, Москва

Словом, он мог бы, еслиб хотел, назначить тебе родиться самым нищим. Но он не восхотел того сделать, а благоволил избрать для тебя родителей лучших, назначить родиться тебе в так называемом благородстве, от родителей, имеющих ненужное себе пропитание, пользующихся множествами выгодами пред другими, имеющих то преимущество пред несметными тысячами других подобных им людей, что много других им же подобных людей назначены быть в их повиновении; зависеть во многом от их воли; употреблять все свои душевные и телесные силы к их услугам; снабжать их пищею и питьем, доставлять им одежду, создавать для них обиталища, доставлять им всякие житейские выгоды, с непрерывным трудом и пролитием пота обрабатывать их поля и земли, возить для согревания жилищ их дрова, исправлять множество тяжелых работ не только во дни, но иногда в самое ночное время, и чрез все то доставлять им покой и возможнейшие удовольствия». Аналогичная «философия» заключена и в Болотовском стихотворении «Песнь застольная»<sup>36</sup>.

Столь как будто бы неотразимые истины доступны однако лишь уму пребывающего «в так называемом благородстве» просвещенного помещика. «Подлый народ», как видим, склонен держаться иного мнения. Страдая в условиях «бедной и горестей преисполненной своей жизни», он не слишком верит в бессмертие души, воскресение из мертвых и прочие загробные блага. В его среде находят себе распространение даже «такие опасные понятия», из которых «первое мнение одним только материалистам соответственно, а второму только древние языческие философы учили». Наш автор, правда, подслушав столь безбожный разговор двух дворовых, немедленно «прикрикивал их к себе и им более сей вздор врать запретил». Но ведь этот то факт только один из многих, случайно уловленных симитомов общей и для феодала-крепостника весьма безотрадной картины. И Болотов—с своей точки зрения вполне основательно—сокрушается «о незнании нашего подлого народа», нерачении сельского духовенства<sup>37</sup> и т. д.

Мысль «о худых следствиях, проистекающих от недостаточного познания бога», в классовом смысле еще более отчетливо выраженную, находим мы и на страницах другого неопубликованного письма. Дав здесь сначала ряд примеров «худых следствий» для помещичьей среды, автор в заключение добавляет: «...сии примеры еще ничто, если вообще о всем народе рассудить и о тех следствиях рассмотрение сделать, которые от сего недостаточного познания бога в простом народе происходят. Но я всех их описывать теперь не намерен. Довольно, когда скажу, что я всегда в сожаление прихожу, смотря на то, сколь мало наш подлой народ о своем боге знает и сколь невеждущ он в сем случае. Каких странных мнений ни слыхивал я, когда нарочно знания их испытывать хотел и оттого с ними в разговор входил. Поистине ужасаться надобно, слыша от них такие вещи, которые для христианина всего меньше приличны и которые о глубочайшем их невежестве доказывают. А о сем рассуждая, возможно ли тому и не быть, чтоб в нашем народе столь много воровства, шалостей и беззакония не было, когда от сего не столько светские законы, сколько страх божий воздерживать может»<sup>38</sup>. А «сердечная молитва» по конкретному поводу—наш автор «торжественно и свято» признается в этом, «не имея ни малейшей притчины лгать»,—оказывает существенную помощь в практике повседневного помещичьего обихода и прежде всего в деле подавления крепостных крестьян<sup>39</sup>.

Отсюда для помещичьего публициста вытекает задача энергичной пропаганды «страха божия» в массах, необходимость решительной борьбы со всем тем, что подрывает авторитет «истинного христианского закона». Болотов признает, правда, культурное превосходство Запада в сравнении с Россией. Есть любопытный неопубликованный текст, где он многословно сокрушается по поводу этой самой отечественной отсталости. Аналогичная мысль повторена в письме «О пользе, происходящей от чтения книг», где помимо вводных рассуждений общего характера автор на конкретном примере: собственной биографии демонстрирует благотельные результаты ознакомления с «иностранный культурой»<sup>40</sup>.

Но минусы культурного развития России с лихвой окупаются плюсом чистоты отечественного православия (уважение к «культуре» имеет таким образом свои классово определенные границы). «Тебе,—говорит у Болотова старик, просвещая внука по вопросу «О нужном покровительстве божием человеку»,—привидение определило жить в маленьком уголке Европы между народом настолько еще образованном, как другие европейские и о по крайней мере исповедующем наидревнейшую христианскую, так называемую греческую веру, которая дошла к нам хотя и не в самой уже такой чистоте и совершенстве, в какой была она в первые времена после апостолов, основателей оной, однако почитается нами православнейшею и лучшею».

К сожалению однако слово божественной проповеди туго проникает в массы. Одним из препятствий на его пути является язва вольтерианства.

«А о кощунстве и вольнодумстве,—говорит по этому самому поводу Болотов в своих рассуждениях,—вкрадемся в наш народ по милости французских учителей и по соблазну, произведенному Вольтером и другими ему подобными не просветителями, а истинными врагами и губителями человеческого рода, и пустивших столько глубокие уже корни и совративших не только молодых светлых и таких, у коих головы набиты одним только ветром, но и самых степенных и пожилых людей: я не отваживаюсь уже почти упоминать, а только скажу, что цепенею при едином помышлении о том, как много и далеко распространилось зло сие между нашими соотчичами и как глубоко вкоренилось в сердца многих; и содрогаюсь при едином воображении той превосходящей все уже меры дерзости, что многие не только ни богу, ни закону и ничему не хотят верить, но даже отваживаются насмехаться и ругаются над святейшими истинами и вещами наивеличайшего уважения и почтения достойными». Счастливые исключения есть, но они единичны, а между тем кажется ясно, что всякий благомыслящий человек должен самым категорическим образом отмежеваться от вольнодумцев. К этому Болотов призывает в особом стихотворении «О вольнодумцах и убежавших от них». Характерно при этом стремление Болотова дискредитировать самые основы просветительной философии. Ему ненавистен прежде всего буржуазный рационализм. В письме «О ложном мнении, что разум наш довольно совершен» по поводу этой типично просветительской установки автор заявляет, что «из всех слабостей, которым человеки подвержены, никоторая столь многова примечания недостойна как то ложное мнение, которое каждый человек о совершенствах своего разума имеет». Вторым объектом нападок Болотова служит философский материализм. Очередное «Письмо к младому родственнику о душах вообще» высказывается на этот счет очень жестко: «Мне известно,—читаем мы там,—что в нынешние критические времена есть в свете много людей либо совсем отрицающих бытие и существование душ наших, либо имеющих об них понятия странные, нелепые, крайне недостаточные и нимало необразные с истинною». И затем призыв к адресату: «Не верь отнюдь, если кто вздумал бы тебя уверять, что в нас души нет или что она хотя и есть, то такая же точно, как в скотах и прочих животных, и при смерти вместе с телами их уничтожится и в прах превратится или прочее тому подобное; но, не вступая в дальнейшие с ними о том разглагольствования, заключаю наверное об них, что они сами не знают, что говорят, и что то совсем не так, как они говорят и думают, а уважай более те истины, которые ты от меня услышишь, и будь уверен, что ты в том никогда не раскаяшься». Столь возвышенного мнения наш автор держится очевидно, рассуждая—вопреки заглавию письма—не «о душах вообще», а только о помещичьих душах. Ибо среди тех, кто принадлежит к «черни» (какая неожиданность в устах заклятого антиматериалиста!), «многие всеми рассудками своими немногим чем превосходят умнейших бессловесных животных»<sup>41</sup>.

Помещичий быт, внешне умиротворенный, но перманентно потрясаемый подземными толчками классовой борьбы; в обстановке этого быта расцветающая феодально-крепостническая идеология, где отдана дань успехам научной мысли, но верховным критерием истины служит религиозный догмат; ужас при мысли о новом взрыве гражданской войны, реальность которой подкрепляется повседневными и нередко «злодейскими» выступлениями крепостных против «их чем-то огорчивших до крайности» помещиков,—вот картина, которую дают впервые публикуемые нами материалы литературного наследия А. Т. Болотова. Тем самым с новой выразительностью характеризуется классовое лицо нашего автора, который, кстати сказать, по собственному признанию именно в обстановке помещичьего благополучия «сделался экономическим, историческим и философическим писателем»<sup>42</sup>.

И. Морозов.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Журнал «Сын Отечества» 1839, т. VIII, отд. I, стр. 61—69. Отрывок из записок А. Т. Болотова (1762 год). Цитированное примечание (стр. 61—62) отсылает читателя к биографической статье «Земледельческого Журнала» (1838, № 5, стр. 183—197)—статье, которая, по свидетельству сопровождающего ее редакционного разъяснения, «занята из собственноручных записок покойного А. Т. Болотова» (стр. 197). Мы однако не считаем нужным сколько-нибудь подробно на этой биографии останавливаться, ибо она посвящена Болотову исключительно как «первому русскому издателю Земледельческого Журнала в Москве и отличному помолочу-агроному».

<sup>2</sup> В «Отечественных Записках» 1850 (т. XIX—XXII) и 1851 гг. (т. XXIV—XXVI), а кроме того в «Библиотеке для Чтения» 1848 и 1860 гг. и в «Журнале для чтения воспит. военно-учебн. завед.» 1851 г., т. 88, № 349.

<sup>3</sup> «Письма иногороднего подписчика о русской журналистике», печатавшиеся в «Современнике». Собр. Соч. Изд. 1865 г., т. VI, стр. 342, 396.

<sup>4</sup> См. «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков», тт. I—IV, изд. ред. журнала «Русская Старина» от 1871—1873 гг. Позднее в руки Семевского попал еще ряд томиков с Болотовскими воспоминаниями, которые и были опубликованы в журнале «Русская Старина» 1889, т. 62, стр. 535—576; т. 64, стр. 23—30; 1895, август, стр. 135—155. Все наши дальнейшие ссылки имеют в виду именно это издание болотовских мемуаров.

<sup>5</sup> Предисловие к указ. выше изд., стр. III.

<sup>6</sup> См. ст. о Болотове Е. Щепкиной и прибавление к ней С. Венгерова в «Критико-биограф. словаре русских писателей и ученых», том V.

<sup>7</sup> Н. Ч е ч у л и н, Русское провинциальное общество во второй половине XVIII в. СПб., 1889, стр. 1.

<sup>8</sup> Том V, стр. 109—121.

<sup>9</sup> Полный перечень рукописей Болотова, хранящихся в ИРЛИ и Г. П. Б., охвачен для первого—рукописным «Описанием рукописей XVIII в.» архива ИРЛИ, сост. Б. Коплан, для второй—печатными отчетами Г. П. Б. за годы: 1885—стр. 78—79; 1886—стр. 66; 1888—стр. 153—154; 1889—стр. 78—81; 1890—стр. 106—112; 1891—стр. 106—107; 1892—стр. 117—132 и 283; 1905—стр. 152—154; 1907—стр. 49—63.

<sup>10</sup> Вспомним такие книги, как «Чувствования христианина при начале и конце каждого дня в неделе, относящиеся к самому себе и богу». М., 1781 и «Путеводитель к истинному человеческому счастью, или опыт нравоучительных и отчасти философических рассуждений о благополучии человеческой жизни и о средствах к приобретению оного». 3 части, М., 1784.

<sup>11</sup> С этой целью Болотов издает в 1778—1779 гг. журнал «Сельский Житель» (2 части), а в 1780—1789 гг.—«Экономический магазин» (40 частей по 416 стр.); оба они почти целиком заполнялись плодами его собственного литературного творчества.

<sup>12</sup> О постановке этой и следующей задачи Вольным Экономическим Обществом см. подробнее в книге В. Семевского «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века», т. I, СПб., 1888, гл. VI.

<sup>13</sup> Приводим сноски к цитированным отрывкам в порядке следования самих цитат. См. «Труды ВЭО», ч. II, 1766 г., стр. 163 и 184; ч. IX, 1768 г., стр. 30; ч. XVI, 1770 г., стр. 96 и 98; ч. XVII, 1771 г., стр. 176 и 184; ч. XVIII, 1771 г., стр. 48—49. Болотов, как известно, был долголетним и очень деятельным членом ВЭО; в неопубликованной части его «Современника или записок для потомства, ч. I» есть специальная итоговая глава—«О состоянии, в каком находилось в сие время экономическое общество в Петербурге и что с ним прежде было, о его ошибках, упадении, возрождении и последнем празднестве» (стр. 285—314).

<sup>14</sup> См. предисловие С. А. Пионтковского в книге «Андрей Болотов. Жизнь и приключения, описанные им самим для своих потомков». Изд. «Молодая гвардия». М.-Л., 1930, стр. 9.

<sup>15</sup> Имеем в виду, с одной стороны, «Памятник протекших времен или краткие исторические записки о бывших происшествиях и о носившихся в народе слухах». Изд. П. С. Киселева. М., 1875, см. ч. I, стр. 1—165, а с другой—знакомый читателю «Современник или записки для потомства».

<sup>16</sup> «Капитал». ГИЗ, 1929, т. III, ч. 2, стр. 267; т. II, стр. 10.

<sup>17</sup> См. очень характерный в этом смысле эпизод, изложенный на страницах Болотовских мемуаров, т. IV, стр. 142—143.

<sup>18</sup> См. его книгу «История экономических идей в России, том I». П., 1923, стр. 103—105. Мету понимания им марксизма автор наглядно демонстрирует в следующем тезисе: «Крепостной труд тысяч крепостных создавал прочную экономическую базу для растущего политического влияния новой сельской буржуазии» (стр. 94).

<sup>19</sup> Фактическую историю обсуждения этого вопроса ВЭО см. в книге В. Семевского «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в.», т. I. СПб., 1888, гл. XIX, где записка Болотова однако не упоминается. Наша попытка разыскать ее в архиве ВЭО (хранящемся в ЛОЦИА) тоже не привела к поставленной цели. (Нами просмотрены были дела № 473, 474, 475).

<sup>20</sup> Труды ВЭО, ч. XVI, 1770 г., стр. 72 и 87.

<sup>21</sup> См. соответственно Болотовские воспоминания, т. II, стр. 745, 746; т. III, стр. 473; т. IV, стр. 137 и 1035; т. III, стр. 492 и сл., т. IV, стр. 140; т. III, стр. 974; т. IV, стр. 142, 1035; т. II, стр. 222; т. III, стр. 494—495.

<sup>22</sup> Нужно конечно иметь в виду ярко классовый характер нарисованной Болотовым картины; С. А. Пионтковский совершенно прав, расценивая ее как «классическое описание расправы, какую произвел класс победителей над побежденным врагом» (указ. ст., стр. 10).

<sup>23</sup> См. соответственно Болотовские воспоминания, т. III, стр. 349, 352, 377, 437—438, 487 и сл.,

<sup>24</sup> «Русская история с древнейших времен», т. III, гл. 11.

<sup>25</sup> «Воспоминания», т. III, стр. 574.

<sup>26</sup> «Современник или записки для потомства», ч. I, стр. 231.

<sup>27</sup> Статья Е. Н. Щепкиной в «Критико-биографическом словаре» Венгера, стр. 91.

<sup>28</sup> «Воспоминания», т. I, стр. 325, 430, 814.

<sup>29</sup> См. статью Е. Н. Щепкиной «Популярная литература в середине XVIII в.» Первоначально в «Журнале М. Н. П.» 1886, апрель; ст. вошла затем в состав ее книги «Старинные помещики на службе и дома». СПб., 1890, см. стр. 177—223.

<sup>30</sup> «Воспоминания», т. I, стр. 182, 232, 233, 235.

<sup>31</sup> В концепциях некоторых из них (в философии—у Вольфа, в эстетике—у Зольцера) явно наличие значительных элементов буржуазной мысли. Все они однако носят на себе вообще характерную для немецкой идеологии XVIII в. печать непоследовательности, половинчатости, компромисса.

<sup>32</sup> Ленин, О значении воинствующего материализма. Сочинения, т. XXVII, стр. 184.

<sup>33</sup> Мы не имеем здесь возможности подробно говорить об усвоении Болотовым достижений западноевропейской буржуазной культуры в области прикладных естественно-научных дисциплин, сельскохозяйственной техники и т. д. Имеющиеся у нас материалы не позволяют однако утверждать, что это усвоение влекло за собой сколько-нибудь серьезную перестройку общих основ его феодально-крепостнического мировоззрения.

<sup>34</sup> «Старинные помещики», стр. 208.

<sup>35</sup> «Воспоминания», т. II, стр. 57, 61.

<sup>36</sup> См. соответственно: «Собрание мелких сочинений в стихах и прозе», т. V, стр. 201, 210—211 (13/IV—1809 г.); т. VII, стр. 313—316 (24—26/XI—1821 г.); т. II, стр. 272—279 (21 и 22/XI—1796 г.).

<sup>37</sup> Последнему сюжету посвящено между прочим специальное «Письмо, относящееся до духовенства». («Собр. мелких сочинений в стихах и прозе», т. VI, стр. 122 сл.

<sup>38</sup> «Забавы живущего в деревне», стр. 168—169.

<sup>39</sup> Об этой «весьма важной, но к сожалению всего меньше людьми и самыми христианами уважаемой истине» Болотов рассказывает в красочном письме «О могуществе молитвы» («Мелкие сочинения в стихах и прозе», т. IV, стр. 275—314), благодаря которой ему якобы удалось раскрыть «злодейский» замысел крестьян, собравшихся бежать от своего помещика. По существу однако это письмо, кроме «истины», вполне устраивающей нашего автора, вскрывает и другую для него менее приятную: факт скрытой, но упорной классовой борьбы даже в периоды относительной стабилизации феодально-крепостного строя.

<sup>40</sup> «Забавы живущего в деревне», стр. 10—12 (1756 г.). 63—90.

<sup>41</sup> «Собрание мелких сочинений в стихах и прозе», т. VIII, стр. 140—141 (24—27/I 1822 г.), т. IV, стр. 356—370. (12/VI—1806 г.); т. VI, стр. 273—274, «Забавы живущего в деревне», стр. 48; «Собр. мелких соч.», т. V, стр. 216—219 и т. VIII, стр. 188. Болотов, как известно, ополчался не только против вольтерянцев, но и против масонов; вспомним отношение его к Новиковскому кружку и радость при известии о его разгроме—«Что мартинистам заглянули под хвост и пагубный их замысел в начале разрушили» («Воспоминания», т. IV, стр. 924, 929—930). Это впрочем не мешало Болотову поддерживать с Новиковым деловое знакомство как с издателем его сочинений.

<sup>42</sup> «Воспоминания», т. I, стр. 300. Публикуемый нами материал расположен не в хронологическом порядке, а тематически. Мы вообще считали возможным подкреплять свою характеристику ссылками на произведения, относящиеся к разным периодам жизни Болотова, потому, что, как показано было выше, основы его мировоззрения сложились довольно рано и на протяжении дальнейших лет ни в чем существенном не менялись. Печатаемый нами отрывок из Болотовского «Современника» «О состоянии наук» был уже в свое время опубликован Н. Губерти; мы сочли возможным воспроизвести его здесь вторично в интересах законченности нарисованной автором картины. При публикации черновика нами приведена только его окончательная редакция, так как имеющиеся варианты не заключают в себе никаких существенных смысловых различий.

## 1. 65-ой ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ ИЛИ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕГО ПРОИСХОДИВШЕГО СО МНОЮ С 7 ЧИСЛА ОКТЯБРЯ 1802 г.

## Часть I

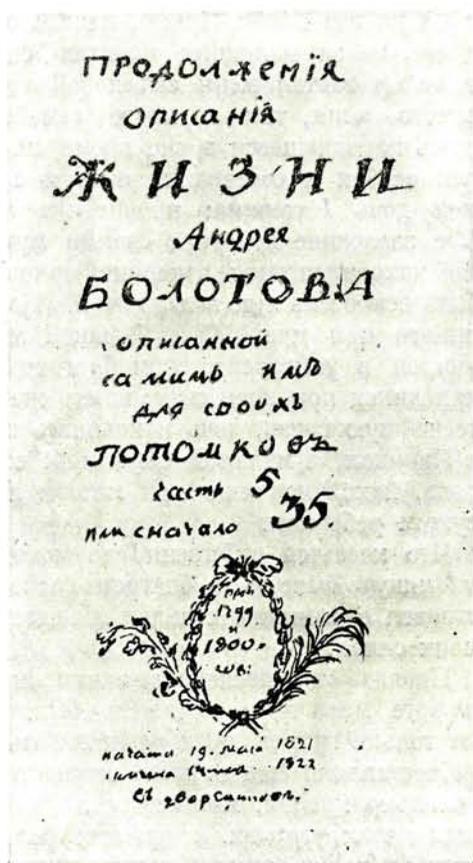
## ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Октября 7 дня 1802.  
вторник в вечере.

В севоднейший день, и в самой почти тот час как я сие писать начинаю, совершилось мне, мой друг! ровно шестьдесят четыре года и начался 65 год моей жизни. Рассказать ли мне тебе с какими чувствами я его встретил? Ах! мой друг, они были особливые, живейшие и преисполненные сердечной и искренней благодарности к тому, кто сохранял ежеминутно толико лет жизнь мою, и сохраняет оною и поныне, осыпая меня бесчисленными щедротами не только во дни моей молодости и в цветущее время лет моих но и в самой нынешней вечер дней моих.—Ах! как оной по неизреченной его ко мне милости еще хорош и для меня приятен! Каким благополучием и какими житейскими выгодами не наслаждаюсь я еще и поныне по особливой его ко мне благодати, как много людей не доживают до толикого числа лет?—Коль многие другие встречают год сей в совершенной уже дряхлости и слабости, или будучи обременены разными нещастиями и болезнями, со вздохами и стенаниями? А я от всего того будучи освобожденным встречаю его, несмотря на всю старость свою, еще здоровым, еще свежим, крепким и в таком состоянии здоровья моего, каким наслаждался я лет за десять или за двадцать до сего времени. Не особливаю ль его уже одно сие составляет ко мне милость. Ах! как она для меня чувствительна! Давеча поутру вставши рано и еще до света и когда все еще спали и пришед в свой любезной уединенной кабинет при совершенной тишине и безмолвии в всем доме, первым долгом я себе почел повергнуть себя в прах к стопам невидимого высочайшего существа и приведя на мысль себе все его ко мне бесчисленные благодеяния, принесть ему достодолжное благодарение. Я протек бегло в мыслях и в воображении своем все периоды долговременной жизни своей, и соображая все прошедшее и напоминая все происходившее со мною во все течение оной, благодарил его, как небесного своего отца и всегдашнего своего благодетеля, покровителя и защитника и благодарил от чистого сердца и из глубины души своей за все и все, чем я пользовался от него во все дни живота моего и пользуюсь и поныне; напоминал все свои пред ним бесчисленные преступления; всю свою неблагодарность пред ним; все свое недостойство толиких к себе щедрость и милостей; умолял его как милосердного господа о не отвержении меня от святого лица своего и о милосердном отпущении мне всех преступлений моих, и препроводил в том несколько минут лежучи во прахе и в глубочайшем унижении пред сим владыкою мира и властелином над жизнью и дыханием моим и единые невидимые духи, присутствующие может быть при сем душевном жертвоприношении ему, были свидетелями оному. Мысль о краткости остающегося времени мне жить еще на свете, и совершенная неизвестность дления оного повстречалась потом со мною и побудила меня вновь повергнуть себя к стопам моего отца небесного.—Ах! с какими чувствами и унижением, и вкупе утешительным надеянием предавал я и все оставшие дни жизни моей в его совершенную власть и волю—с каким

Титульный лист 35 тома записок А. Т. Болотова  
(1799 г.)

Институт Русской Литературы, Ленинград



пламенным усердием просил я его быть и в оставшие сии дни моим отцом и покровителем, подкреплять меня в моих слабостях и усердном желании быть ему угодным и быть и при поздном вечере дней моих ко мне столь же милостивым, каковым был он ко мне во дни юности и во все продолжение жизни моей.

Потом вспомнилось мне стихотворение, сочиненное некогда мною на день рождения моего. И как в состоянии оно было растрогать еще более мою душу, то отыскав воспел я оное с новыми чувствами благодарности и умиления к моему создателю и тем еще более побужден был пешись колико можно о том, чтоб впредь быть менее против творца моего неблагодарным, а стараться колико можно быть ему угоднейшими.—Ах! мой друг! сколь много раз приводили меня сии духовные стихотворения мои в чувствования достойные христианина, и коль много несмотря на всю слабость оных, я ими пользовался. В сих упражнениих застал меня рассветнувший день, и хотя оной и не был празднуем нами, так как по старинному обыкновению праздновал всегда я именины, однако я не преминул велеть приттить и священнику чтоб по крайней мере отслужить благодарной молебн с акафистом господу вседержителю, который мог с лихвою заменить все всеночные, столь у нас обыкновенные и в особливости женщинами так много почитаемые. Что касается до гостей, то у нас их в сей день никого не было и мы обедали с одним своим небольшим семейством и приход-

ским нашим попом Ильею, нашим общим духовником. Теперь, не ходя далее, не за излишнее почитаю сказать несколько слов о состоянии в каком застал меня сей новой год жизни моей, как в руссуждении самого меня, так и моего семейства и других обстоятельств. Все здесь находившееся в сие время мое семейство состояло только в четырех особах и составляли оное я с женою, матушка, теща и меньшая моя дочь Катерина; прочие же мои дети находились в отсутствии. Обе замужние дочери с своими мужьями—в своих деревнях, а и сын мой находился также в жениной орловской деревне, где дозволил я ему пробыть всю осень и до зимы самой. Из самых даже внучат моих не было никого при мне. Сын большой моей дочери находился в Москве и учился в университетском благородном пансионе, а сын другой дочери находился при моем сыне; из его же детей, имеющих с семейством моим теснейшую связь, дочь находилась при бабке своей в Данковском уезде в Папихах, а малютка внук мой, составляющий единую отрасль моего рода, находился еще при матери и отце своем и был еще очень мал и сущим ребенком.

Что касается собственно до меня, яко главной особы, то как выше упомянуто было, я по благодати господней еще довольно здоров и не чувствовал еще никаких дальних недостатков их в душевных и в телесных моих силах.

Правда сии последние начинали уже мало по малу ослабевать и в роте моем уже так мало было зубов, что я не в состоянии был не только грысть, но и разжевывать ореховые и миндальные ядра, но сие не составляло еще дальней важности: по крайней мере телом был я еще довольно крепок, мог всюду и много еще ходить и упражняться в разных делах, трудах и работах без дальнего отягощения, а что всего важнее, то не ощущал в себе никаких важных телесных болезней; единая левая нога начинала только меня приводить в некоторое опасение; уже с некоторого времени начинала она и довольно часто страдать судорогою хотя очень кратковременною, но весьма чувствительною и наиболее тогда, как во время спанья случалось мне ее вытягивать, и чего я повсячески убегать старался. Кроме сего беспокоили меня по вечерам несколько глаза, начиная таким же образом и нынешнюю осень болей как болели в прошлом году: но как известно мне было лекарство, помогшее в прошлом году, то подкрепляю я их тем же, а именно холодною водою и электризованием извне. Впрочем на зрение моё не могу я жаловаться, и поныне оно хорошо, и я могу читать и писать и поныне очень мелкое, но при долгом чтении и писании при огне они наводили уже беспокойство, и о чем сожалел я всего более, ибо в чтении и писании состояло неприятнейшее мое упражнение. Относительно ж до душевных моих сил, то не могу еще ни на что пожаловаться кроме памяти, которая становится от часу слабее, но она и всегда не была слишком острою.

Что касается до душевного состояния, то по благодати господней было оно хорошо, спокойно, мирно, и таково, какое только может составлять истинное блаженство на земле сей. По особливой милости отца моего небесного не было ничего такого, чтоб могло в особливости дух мой смущать, тревожить, огорчать и приводить в уныние и беспокойство и оставалось только чувствовать блаженства временной сей жизни, о чем я всего более всегда старался и стараюсь, а потому и ощущал

всегда многие веселые и приятные минуты; а если когда и случались какие небольшие огорчения, так всячески оные преодолевать старался. Самые наружные обстоятельства состояния моего соответствовали тому немало. Достаток имел я хотя небольшой, а очень, очень средственный, но по крайней мере не обременен был долгами, не терпел нужды ни в деньгах, ни в пропитании, дом имел спокойной, теплой и веселой, платья довольно; люди также были, ездить было на чем и в чем, усадьбу имел прекрасную, сады такие, которые утешали меня ежедневно; денег множество, чин хотя небольшой, но не гнусной и не постыдной; соседями и знакомыми всеми был любим и почитаем, недругов и врагов не имел из известных никого; имя носил доброго и честного человека, а сверх того было оно и во всем отечестве моем не только не безизвестно, но довольно и славно и таково, что многие желали меня видеть и со мною иметь знакомство.

Доходов имел я столько, сколько мне нужно было на прожиток; от приказных ссор и хлопот был освобожден. Итак чего ж хотеть и делать мне было более; словом я наслаждался мирною, довольною, покойною и прямо счастливою деревенскою жизнью и за все сии много-различные и великие выгоды обязан был моему небесному отцу и благодетелю, которому и не престану зато благодарить покуда обитать будет дух в моем брэнном теле. Что касается до моей жены, то к сожалению моему была она далеко не такова щастлива, и причиною тому были многие и разные обстоятельства, а всего более природной ее характер и свойство ея души и воспитание самое. С одной стороны нещастна она была тем, что натура не одарила ее крепким и здоровым сложением тела, но подвергла оное многим и хотя не столько большим и важным, сколько частым болезненным припадкам, которые тем более становятся ей чувствительными, чем старее она становится; но сие далеко еще не так важно, как то, что она наследовала от предков своих и, как думать надобно, от отца дух или свойство души прямо нещастное, приносящее то с собою, что она не может быть почти никогда прямо весела и чувствовать то душевное спокойствие и удовольствие, которое толико нужно для благополучия жизни и составляет истинное существо оногo, но при всех выгодах житейских и при всем том, чем можно б было веселиться, не толико неспособна к чувствованию удовольствия, но вопреки тому наклонна к непрерывному на все в свете неудовольствию и ко всегдашнему огорчению от самых ничего не значащих безделиц.

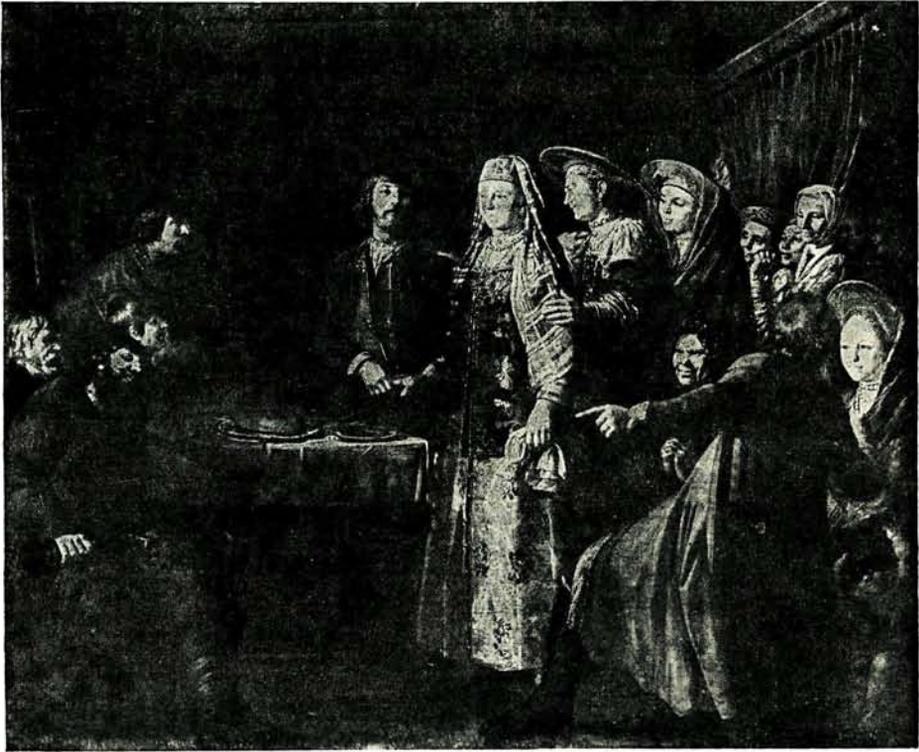
Словом находящее единое почти удовольствие в том, чтоб всякий час всем и всем огорчаться, всем и всем быть недовольною, на все негодовать, за все про все браниться, на все про все всему свету жаловаться и себя почитать несчастнейшею из всех на свете женщин, хотя не имеет ни малейших причин почитать себе таковою. К вящему нещастию с приумножением лет не уменьшается, а еще увеличивается всё сие природное зло и нещастное ее свойство, которое тем сожаления достойнее, что нет ни малейшего способа к вспоможению ей от того. Она не принимает не только советов, но при едином и напoминании о том огорчается еще более; словом все увещания и утешения ей несносны, а к нещастию и сама себе она в том помочь никак не в состоянии. Единое чтение хороших книг могло б ей всего лучше в том помочь, но к сему чтению не имеет она не малейшей склонности, а потому

лишается навсегда и сей надежды; к сему последнему сколько природа, столько и воспитание уже было причиной. С таковым несчастным нравом и расположением душевным, препроводив весь свой почти век, начинает и она уже приближаться к вечеру дней своих, который к искреннему соболезнованию моему далеко не таков ясен и хорош как мой. О себе я уже и не говорю: будучи философом, научился я издавна и привык уже без нарушения спокойствия своего переносить все ее недостатки, но сожалел всегда и сожалею и поныне, что помянутым несчастным нравом своим навлекла она к себе ненависть от всех наших людей и подданных, ибо им кажется, что ко всем им имеет она непримиримую злобу и ненависть и никому из них ни малейшего добра не хочет, хотя в самом деле она от того весьма отдалена, а несчастной ее крик то уже приносит с собою, что она никого приласкать и ни с кем благоприятно обойтись из них не может. Что принадлежит до старушки матери ее, а моей тещи, которая несравненно лутчими своими свойствами, нравом и качествами столь много благополучию дней моих поспешествовала, что я издавна привык ее так почитать и любить как родную мать и которая того была и достойна, то хотя она меня десятью годами старше и дожила почти до самых суморок дней своих, однако, благодарить бога, все еще не только на ногах, но и не составляет еще отяготительного члена в семействе нашем, но я и поныне еще нередко пользуюсь приятным собеседованием и сообществом с оною и желаю, чтоб всемогущий продлил и далее ее жизнь к общему удовольствию нашему. Впрочем хотя силы ее начинают с каждым годом час от часу ослабевать, но она все еще в состоянии была делать нам сотоварищество не только в общежитии, но и в самых выездах к родным и к соседям и пользуется и поныне ото всех истинным почтением.

Чтож принадлежит до моего сына, сего любимца души моей и драгоценнейшего из всех даров, сниспосланных мне от бога, то об нем остается мне только то сказать, что он по весьма многим отношениям составляет друга меня и что он и прежде составлял и ныне составляет наивеличайшую часть благополучия и блаженства моего. Одно только меня в рассуждении его огорчает-то, и огорчает до самых глубочайших недр души моей, что он весьма слабого и хилого состояния в рассуждении своего здоровья и беспрестанно почти страждет разными, а особливо головными болезненными припадками, наследованными им едва ли не от своей матери. Мы находимся и при нынешней с ним разлуке в такой же частой с ним переписке, какую имели в прежние его отлучки и разговаривая с ним еженедельно заочно на бумаге, доставляем чрез то друг другу столькож приятных минут, как бы и при личных свиданиях с ним. Она и делает разлуку обоим нам несколько сносною. Многие экономические нужды и дела побудили его почти против хотения прожить в орловской жениной деревне долее, нежели сколько он думал и даже до зимы самой. С ним же вместе находилась и богом данная ему подруга, которою я с моей стороны очень доволен. Из детей же их дочь находилась в Данкове и все еще очень больна и почти ненадежна, а малютка сын, о котором слышу от всех многую похвалу и которым не могу довольно нарадоваться, находился при своих родителях и как говорить, час от часу делался умнейшим. Но не знаю угодно ли будет богу дозволить мне сею младою и нежною еще отрослею моего дома и

рода при старости повеселиться и не лишит ли он всех нас его в самом младенчестве.

Что касается до моей меньшей дочери, жившей еще при нас, то была она в таких уже годах, что давно б пора выдавать ее замуж, но к сожалению была она далеко не такова здорова, как были большие ее сестры в девках, но подвержена была нередко самым истерическим припадкам, сверх того и душевными и телесными своими совершенствами несколько поотстала ото всех прочих моих детей, то и не очень я сожалел о том, что по сие время не отыскивались за ней женихи такие, за которых бы



#### КРЕСТЬЯНСКИЙ СГОВОР

Картина маслом Михаила Шибанова (1777 г.)

Третьяковская Галерея, Москва

выдать ее можно было без всякого опасения, чтоб супружество не было для ей безчашно. Впрочем любовью, привязанностию и почтением ее ко мне я не менее был доволен, как и обеими ее старшими сестрами и нимало не скучаю ею, и тем паче, что по частым отлучкам моего сына разделяет уже она одна со мною и время и разные упражнения, утешает меня почти каждый день игранием на фортопиане и берет соучастие в радостях моих и удовольствиях и помогает мне нередко провождать время без скуки. Вот все, что рассудил я за неизлишнее упомянуть о состоянии моего семейства, а теперь приступлю к самому историческому описанию сего нового периода моей жизни.

В день сей наиболее мы для того и не приглашали к себе, что нужно нам было съездить к новому нашему соседу, купившему недавно сосед-

ственное с нами село Домнино, г-ну Засецкому. Третьего дни приехал он к нам и с женою своею, в самое то время, когда нас не случилось быть дома и мы ездили в Татарское по приглашению от Доброклонских и у них обедали и весь день провели. Итак надобно было отплатить ему сей визит и не столько мне, сколько моей жене, которая его жене была совсем еще незнакома. Сверх того присылал он еще и сам нас звать к себе по причине что намерен он был скоро отъехать.

Таким образом ездили мы с женою и дочерью после обеда к нему и просидели у него до самого вечера. Он был нам очень рад и старался нас угостить всячески. Между прочим жаловался он на смешные затеи и посягания на него ближнего его соседа Доброклонского, но я старался как можно наклонять его к тому, чтоб он с ним какнибудь повидался, уверяя его, что тогда кончатся все их друг на друга претензии и они верно между собою поладят, в чем я действительно и не сомневался. При отъезде нашем просил он меня о неоставлении его деревни в случае надобностей и мы расстались с ним как добрые приятели.

Впротчем достопамятен был сей день тем, что мы услышали о происшедшем в недалеком соседстве от нас страшном и прямо злодейском убийстве двух дворян: одного живущего в здешнем уезде, а другога в Тарусском и нам очень коротко знакомого и нами любимого. Он был человек бедной, но умной и услужливой, назывался Лисенко, а по имени Иваном Григорьевичем. Во время пребывания моего в Богородицке жил у меня один из его сыновей несколько лет и учился кой чему и сделался чрез то порядочным человеком, служащим ныне в полевых полках с довольною похвалою. Сего то бедняка убили злодеи тут же для компании, убивая господина своего, называвшегося Орловым и их чем то огорчившего до крайности. Сей Орлов нам вовсе не знаком был и потому о свойствах и обстоятельствах его нам еще не все известно, а мы тужили только и горевали о бедном знакомце нашем Лисенке, а особливо ведая, в какой непокрытой бедности осталось после его многочисленное его семейство: четыре сына и две дочери составляли оное, двое старших сыновей были в службе, но оба служили еще унтер-офицерами, третьей был в Калужском благородном училище, а четвертой был еще дома при матери, к несчастию подверженной еще пьяной болезни; из дочерей же одна была лет уже 12, а другая меньше и обе очень жалки. Словом они не сходили у нас целый день с ума.

Сим окончу я сие мое первое письмо, содержащее историю первого дня, в которой кроме сего ничего другого не было.

## 2. СОВРЕМЕННОК ИЛИ ЗАПИСКИ ДЛЯ ПОТОМСТВА.

О состоянии, в каком около сего времени находилось наше дворянство, могло б найтиться столь много вещей к замечанию, что одною б сею материею можно б было наполнить целые книги. Но я, предоставляя подробнейшие замечания о том впредь и до других удобнейших случаев, замечу теперь только то, что оно во всем своем существе в последние двадцать лет столько переменялось и столь отменной пред прежним вид на себя восприяло, что его почти и узнать не можно. Весь его наружный вид получил столь много блеска перед прежним, что ежели б привести теперь в Россию такого человека, который бы, будучи в отсутствии из ней, препроводил лет 20 или 30 где нибудь на пустом и отдаленном

острове и всех происходивших постепенно с ним перемен не имел случая видеть, то он остолбенел бы от удивления, и с трудом мог бы поверить, что были то самые те ж дворяне российские, которых видел он лет за двадцать или за тридцать до сего в России, но скорее мог бы счесть их всех за какихнибудь выезжих иностранных герцогов, князей, графов, баронов или по меньшей мере великих богачей. Но сколь бы удивление его было велико если б уверив его, что они те ж самые или по крайней мере их дети и внучата, вкупе сказать ему и то, что он сим видимым наружным блеском весьма обманывается и по оному отнюдь не должен заключать о их богатстве, но напротив того, знать, что наибольшая часть сих мнимых богачей находится в најжалостнейшем положении, и в таком состоянии, которое весьма противоположно всему его наружному блеску, и скорее всякого патриота заставит вздыхать, нежели побудит оным любоваться, словом, что оно так расстроено, что угрожает ежеминутным падением, которое как в рассуждении их так и всего их корпуса неминуемо и воспоследует в непродолжительном времени, буде они не образумятся и не укротят скольконибудь скорого и быстрого своего бежания к собственной своей гибели и разорению или буде не воспоследует чегонибудь такого, что в состоянии было наложить на главы их уздечку и запальчивость их посократить против хотения и по неволе.

Сия черта, изображающая хотя вскользь нынешнее состояние дворянства, сказывается сама собою, что она не весьма для него выгодна. Но что делать, когда, держась истины, другого и сказать не можно. Оно поправилось, это правда, и поправляется от часу более и со всяким годом делается лучшим. Но увы! все сие поправление относится только до его наружности, а чтоб поправлялось оно в существенных вещах того никак к сожалению сказать не можно.

Весь духовный чин или вообще все российское духовенство, начав уже за несколько до сего лет мало по малу поправляться, хотя и очень тихими и почти неприметными шагами, находилось около сего времени несколько в лучшем состоянии, нежели в каком было оно лет за 20 до сего времени. Размножение наук, лучшее в семинариях учение, истребление некоторых бывших до того злоупотреблений, производство в архиереи молодых лучших и ученейших людей, соревнование сих друг пред другом к приведению епархий своих в лучшее состояние и многие другие обстоятельства поспешествовали сей вожделенной перемене. Однако нельзя сказать, чтоб она была слишком велика, но паче и с сей стороны истина признаться повелевает, что и в духовном чине были еще многие несовершенствы и господствовали злоупотребления, которые нужно было еще истреблять и о которых можно бы весьма многое заметить. Но я и сие как и прочее предоставляю другим и свободнейшим случаям для переды, и не премину замечать, как скоро получу удобной к тому случай или какойнибудь особливой к тому повод, а тоже сделаю и в рассуждении самого прежнего и нынешнего состояния нашей религии, как пункте особливого внимания достойном.

Обозревая далее все отечество наше и обращая мысленной взор на города наши и в них жителей, то нельзя довольно изобразить, какую великую реформу все они с того времени получили, как основаны в нашем отечестве наместничества и, как известно, число городов знаменитым количеством новых приумножено. Число лет, протекшее с сего

времени, хотя еще и не очень велико, но и в сие короткое время успели они столько преобразиться и воспрять перед прежним столько лучший красивейший и выгоднейший вид, что всякий не бывавший в России лет 15 и приехавший в оную ныне удивился бы чрезвычайно и с трудом бы поверил, что все сие произведено в столь немногие годы. Словом монархиня наша сим поправлением старых и основанием новых городов основала себе на все грядущие времена и всему потомству наилучшей и достопамятнейший монумент и эпоха сия для всех наших российских городов и их жителей сделалась весьма важною и на веки незабвенною. Еще правнучаты нынешних их жителей будут твердить, что всей будущей красе их обиталищ и самому лучшему образу жизни положила великая Екатерина основание и что в ее славные времена почти все старинные города исторгнуты из прежней их азиатической дикости и грубости и начали мало по малу принимать на себя вид европейских городов. Всей сей великой и достопамятной перемене и превращению поспешествовали разные причины. Первейшею из них и более всех подействовавшей можно почесть данное монаршее повеление все их перестроить по планам, и сочинение самых сих планов по снятым наперед геометрическим местоположениям. Не успели сочинить и разослать сии планы повсюду и по оным разбить новые площади и улицы и предписать самые фасады домам купеческим и мещанским, как повсюду началась перестройка и каверканье и ломанье прежних гадких хижин и хибарок и воздвигание вместо их домов лучших и благопристойнейших и не только простых, но и самых палат каменных. В особенности же приметно было сие в городах губернских. Соревнование наместников и правителей их друг перед другом и неусыпное старание их к приданию сим резиденциям своим колико можно скорее лучшего и великолепнейшего вида; снабжение всех сих городов искусными архитекторами, воздвигание при помощи их для судебных мест огромных и пышных зданий на отпущенные и ассигнованные самую императрицею суммы, стечение в города сии многочисленного дворянства как для исправления должностей разных по судам, так и для прочих нужд, а инде и для самого жительствова, желание всех их снабдить себя спокойными для жительствова домами, принуждение купцов строить порядочные дома как для себя, так и для квартир судьям и другим чиновникам и воспоследовавшее вскоре затем и произвольное друг другу подражание, купцов и других городских жителей.

Да и самая пришедшая в лучшее состояние торговля скоро преобразили все сии города и придали им такой вид, который непостыден был для России и пред самыми иностранными и от прежнего столь отличен, что оных и узнать не было способа и сие преобразование продолжалось как с ними, так и со всеми прочими и мелкими городами и около сего времени со всяким годом получали они лучший вид. Со всем тем есть и в рассуждении самих сих городов весьма многие вещи, достойные в особенности замечены и впредь для сведения потомкам записаны быть. Но я оставляю и сии равномерно до других и удобнейших случаев.

Что касается до состояния, в каком около сего времени находилось крестьянство, то об оном судя вообще можно сказать, что оно в главной своей массе находилось все еще в таком же состоянии, в каком находилось лет за 20 до сего времени. Не видно было никаких дальних

и приметных с ним перемен и оно прилеплено еще было к нравам и обычновениям своих отцов и дедов. Но признаться надобно, что ему и не до того было, чтоб помышлять о каких-нибудь новых переменах состояния своего. Оно едва успевало исправлять как собственные свои так и те работы, которые на них возлагаемы были от их помещиков и им едва удавалось снабжать себя нужным пропитанием. Со всем тем нельзя сказать, чтоб и относительно до них не было ничего такого,

ДЕРЕВЕНСКОЕ  
ЗЕРКАЛО  
ИЛИ  
ОБЩЕНАРОДНАЯ КНИГА

сочинена

Не только чтоб ее читать,  
Но чтоб по ней и исполнять.

Часть первая.



Чего не знаешь, так учись,  
И добраго всегда держись.

ВЪ САНКТ ПЕТЕРБУРГѢ,  
при Губерискомъ Правленіи 1798 года.

Титульный лист книги „Деревенское Зеркало“ с гравюрой на дереве, изображающей помещика на жатве (1798 г.)

о чем стоило б труда упомянуть, но я и о сем дальнейшее упоминание оставляю для предбудущих записок при других случаях.

О состоянии, в каком около сего времени находилось наше российское купечество, можно также сказать, что оное, хотя мало по малу и поправлялось, но поправление сие происходило очень медленными и тихими стопами. Очень в немногой и небольшой части одного приметна была некоторая перемена, да и о той двойное еще сказать можно; что она не столько к пользе, сколько к предосуждению их сословия и самого отечества служила. О самой же большой массе всего их сословия сказать можно, что она, не взирая на всю происшедшую

наружную перемену с их жилищами, была такова ж почти точно какова была лет за двадцать до сего времени, а особливо в рассуждении образа жизни и нравов. Купцы не преставали быть такими ж обманщиками, такими ж вероломцами, такими ж прошлецами и пронырливыми лукавцами, какими были прежде, и вещей достойных к замечанию есть и в рассуждении их как с хорошей, так и худой стороны великое и такое множество, что одною сею материею можно б занять множество места. А сие и убеждает меня и о сем дальнейшее упоминание предоставить другим случаям.

Состояние, в каком находились у нас около сего времени науки, было несравненно лучшее, нежели лет за двадцать до сего времени. Во все время правления нынешней нашей великой монархини возрастали они с каждым годом и приходили в цветущее состояние и расцветание их увеличивалось скорыми шагами. Перейдение типографий из казенных в партикулярные руки, а особливо московской университетской в руки г. Новикова послужило славною и весьма достопамятною эпохою для нашей литературы. С сего времени она властно как вновь возродилась и со всяким годом стала столь много возрастать, что чрез короткое время получила совсем иной вид; и как мало до сего было у нас в России библиотек, так много проявилось их вдруг во всех партикулярных домах. Стараниями оного доставлены вдруг не только наилегчайшие способы к чтению, но весьма многим, одаренным склонностью к наукам и способностью к писанию и сочинениям, отворен путь и преподан случай и возможность к оказанию своих способностей и сил разума, так что чрез самое то сделались они потом сочинителями и такими авторами, которые ныне истинную честь приносят своему отечеству. Одним словом, нынешнее правление было весьма выгодно для нашей литературы и наук, хотя нельзя сказать, чтоб со стороны оной самим ученым делано было дальнее какое побуждение; а буде делано что в пользу наук, так вообще и сих поспешствований со стороны правительства было довольно. Оказанные разные милости университету; предпринимаемое намерение учредить в некоторых местах еще новые; заведение повсюду народных училищ и снабжение их хорошими учителями; приуготовление самих сих учителей и наконец самое размножение типографий и данное всем дозволение заводить оные везде и кому только хотелось, служили поспешствующими и весьма сильно действующими средствами к скорому и быстрому размножению нашей литературы и вообще к множайшему расцветанию наук. Впрочем, как пункт сей есть обширнейший из всех, о котором можно и нужно поместить здесь записки и примечания, то предоставляю оные будущим случаям.

Состояние, в каком находились у нас около сего времени ремеслы и художества, было также довольно хорошее. Все они приходили час от часу в лучшее совершенство и процветали от часу больше. Повсюду размножались разные фабрики и мануфактуры и везде народ становился искуснее и замысловатее. Однако нельзя сказать того о всех ремеслах и художествах вообще, но многие из них находились в весьма еще худом состоянии, а иные только что рождались. Обстоятельно об них не упоминаю теперь для того, что предоставляю то другим и будущим способнейшим случаям, и тем паче, что найдется об них много, что говорить.

Некоторые из приезжих из армии молодых молодцов разглашали якобы в то время, когда наши с Суворовым стояли пред Прагою, поляки в шинках и на гуляньях наши средство преклонить было наших солдат к французским сумасбродным мыслям и довели было до того, что они не хотели итти на приступ, а все сказались больными и что Суворов насилу их уговорил и убедил речью и увещаванием и служением молебнов и кроплением святою водою. Но ложь и явная выдумка таких бездельнических разглашений оказывается сама собою. Все прочие приезжие оттуда нимало о том не упоминали, и потому



ПОМЕЩИК И СВЯЩЕННИК НА СЕЛЬСКОМ СХОДЕ  
Гравюра из книги „Деревенское Зеркало“ (1798 г.)

казалось, что разве сами сии рассказчики были таковых мыслей и что не солдаты, а они французским безумием сведены были с ума и обожали проклятые их правила. А из молодчиков молодых около сего времени и много было у нас таких, которые достойны были того, чтоб их как маленьких ребяток выпороть гораздо, гораздо и так розгами на козле, чтоб им неделю другую на седалище сесть было невозможно, а за то не ври того, чего не смылишь и не одобряй того, что весь свет порочит и гнушается.

О состоянии в каком находилась при конце прошлого 1794 года вся Европа или знатнейшие державы оной, можно вкратце и вообще сказать что оно было критическое. Франция, хотя продолжала все еще играть на театре света наиважнейшую роль, однако внутренность ее приходила час от часу более в расстройство и изнеможение. Верховную власть над нею все еще имели бунтовщики, безбожники и наинегоднейшие люди, производящие почти ежедневно между собою всякие раздоры и друг друга губить старающиеся. Правда система правления их со времени истребления Роертспьера хотя и весьма переменилась, и сколько была до того соединена с неслыханным тиранством и бесчеловечием,

столько ныне кротка и тиха, но сие, равно как и уничтожение самого якобинского клуба мало помогло, и не могло никак заменить те ужасные недостатки и оскудения во всех тех вещах, в каких теперь терпела она нужду. Увеличивающаяся час от часу на все дороговизна, разрушение всей коммерции и торговли, расстройка всех мануфактур и рукоделий, а паче всего земледелия и сельского хозяйства, неподчиненность повсюду господствуемая, буйство и самовластие оказывающиеся повсюду, неповиновение повсеместное к даваемым повелениям, нехотение платить никаких податей, остановившееся сообщение между провинциями и взаимное доставление своих избытков, обнажение деревень от лучших их работников, хлеба и лошадей, сделавшийся в сих последних крайний в Париже недостаток, несогласие между собою всех членов их конвента или сената, волнение в народе, происки якобинцев к возвращению себе прежней власти и тысячи других обстоятельств приводили вообще все состояние их дел в сумнительнейшее и такое положение, что начинали они власно как от сна просыпаться, усматривать пред собою бездну, на берегу которой они стояли, и почти въявь признавались, что едва ли их от сей бездны спасти может единое только прибежище паки к монархическому правлению и к прежнему образу жизни. Словом, во Франции начинало уже много кой-чего происходить приближающего сей народ к прежней законной власти, и доводила его до того самая нужда. А расстройка во всем была так велика, что никогда война для ней такова опасна не была как ныне, потому сомневаться почти было невозможно, что нельзя ей по недостатку во всем, не только еще года, но и половины года многокоштную войну выдержать.

Но к особливому и удивительному ее щастию военные дела ее имели столь необычайной и невероятной успех, что нагнали страх на все воюющие с нею союзные державы и произвели то, что все почти оные в противность всей благоразумной политике стали желать скорейшего заключения с нею мира. Уже носилась около сего времени молва, что сей мир Гишпания будто уже с ними заключила, а голландцы действительно отправили уже своих поверенных мириться; германские князья делали того же наиусерднейшим образом и поручили стараться о том королю прусскому и сей изъявлял особливое свое к тому желание и уже назначал кого послать в Базель, где быть конгресу. Одна только Англия сколько нибудь тому противоборствовала и не только к мирозаключению не соглашалась, но готовясь к сильному продолжению войны, искала нового себе союзника в России и о заключении с нею особой конвенции старалась. Итак неизвестно еще на чем все дело вскроется и будет ли на будущий год война продолжаема или не будет. По сие же время она, несмотря на самое зимнее время, все еще продолжалась и французы все еще утесняли голландцев и взяли у них еще одну крепость Граву, хотя от вторжения своего внутрь Голландии за реку Вааль и не имели дальней выгоды, но были назад прогнаты.

Впрочем вообще можно сказать, что в сие время во всех кабинетах происходили великие и важные дела и о многих вещах переговоры, в особливости же решение судьбы Польши занимало многие кабинеты и обращало на себя внимание всей Европы. Никому было неизвестно, чем славное сие дело кончится и весь любопытной свет с нетерпеливостью того дожидался.

## 3. ОПЫТ ПРАВОУЧИТЕЛЬНЫМ СОЧИНЕНИЯМ.

## I. О незнании нашего подлого народа.

Сколько мне до сего времени глубокое незнание удивительно ни было, в котором наш простой народ в рассуждении бога и закона находится, однако никогда не дивился я так много, как при некотором случае. Я принужден был с крайним сожалением видеть, что оно все мои чаяния превосходит, и столь велико, какова посреди столь православною верою просвещенного народа, какова наша есть, никогда бы ожидать было невозможно. Причина моему удивлению была следующая.

Мне случилось некогда слышать разговор между двумя разным господам принадлежащими служителями. Один жаловался другому на своего господина, и вздыхая рассказывал те немилосердные и частые побои, которые он претерпевать принужден. Другой ему тоже говорил и жаловался на госпожу, что она их скоро со двора сгонит. Потужив несколько о своем горе и покачав головами начал наконец один другого утешать. Он советовал ему сносить нещастье свое с терпением и полагаться на милость божию. Другой, который повидимому не столь набожен был, усмехнувшись отвечивал ему, что он неправильно говорит; что терпение иметь неможно; что никакой возможности к тому нет, а наконец, что он часто в такое отчаяние приходил, что хотел либо в реку броситься, либо удавиться. Услышав сие, его товарищ не преминул зато его осудить и начал худобу сей поступки, сколько его разума было, изображать.



Какъ у меня есть дворъ, да пашенка и лугъ,  
 Да добра женушка,  
 Овца, лошадка и каровушка  
 Для собственныхъ услугъ;  
 Такъ будемъ счастливы мы общими трудами,  
 И наживать добро, раченія плодами.

Страница из книги „Деревенское Зеркало“  
 с рисунком, изображающим крестьянина  
 на пашне (1798 г.)

Сие подало им повод вступить между собою в пространнейший разговор о жизни человеческой. Любопытствуя сему, начал я внятнее слушать их рассуждение, и чтоб им не помешать, притаился у окошка, под которым они у меня разговаривали.

Поговоря несколько времени о бедной и горестей преисполненной своей жизни, нечувствительно дошли они до смерти. Но какое бы мнение имели они об ней? «Вот» сказал вздохнувши один: «Живи живи, трудись трудись, а наконец, умри и пропади как собака». «Подлинно так», отвечал ему другой, «покамест человек дышет, до тех пор он и есть, а как дух вон, так и ему конец». Слова сии привели меня в немалое удивление, но я больше удивился, как из продолжения разговора их услышал, что они и действительно с телом и душу потерять думают. Не мог я долее терпеть сего разговора, но, растворив окно, прикликал их к себе и им более сей вздор врать запретил. Они ответствовали мне, что лучше того не знают и про душу почти все они так думают; а как я их спросил, разве они про бессмертие души и про воскресение из мертвых никогда не слыхивали, то сказали они мне, что хотя в церкви кой когда про воскресение они и слышали, но то им непонятное дело и что тому статья невозможно, чтоб согнившее тело опять встало, а наконец, что им то достовернее кажется, что душа после смерти в других людей или животных преселится. Ужаснулся я сие услышав и от жалости о таковом незнании их не мог, чтоб не сказать им вкратце, что им о смерти и о душе думать надлежит. Они благодарили меня за то и уверяли, что они сего никогда не знали, а как я им сказал, чтоб они о том и прочем попов спрашивали и их себя учить заставляли, то, усмехнувшись, сказали они: «Учить, судырь, заставлять! Разве вы не знаете, что попы и господа помилуй даром не скажут, а нам где боярин деньги брать».

Удивление мое, которое они сими словами умножили, было несказанно. Оно подало мне повод к различным размышлениям. Во первых, дивился я откуда такие опасные понятия они получают, и откуда бы сие суеверие произошло. Известно, что первое мнение одним только материалистам свойственно, а второму только древние языческие философы учили. И чтоб со времен древних языческих учителей оно между народом имелось и к нам перешло, казалось мне невозможным делом. Во вторых, сказанное мне о попах известие казалось мне, как в то время отечество свое еще мало знающему человеку столь странно, что вид всей вероятности превосходило. Одним словом я находился в великом смущении и не знал что думать, пока наконец один мой приятель, пришедши ко мне, слышанного мною не подтвердил. Он рассказал мне, что первое и самому ему слышать случилось, и что между подлости едва ли сотого человека сыскать можно, который бы о бессмертии души твердо удостоверен был, но что большая часть или вовсе никаких или совсем странные и развращенные, а по крайней мере недостаточные понятия о том имеет. А второму бесомненно бы я верил. Со всем тем я не мог понять, каким бы образом могло быть от духовенства нашего нерачение, но приятель мой удостоверил меня в том, рассказывая прочее состояние церковного нашего учения. Я ужаснулся, услышав обстоятельства, которым бы никогда поверить не мог, еслиб оттого уверен не был, которой обещал доказать мне самым опытом. Я и действительно, стараясь о слышанном мною тверже удостовериться и для

Страница из книги „Деревенское Зеркало“  
(1798 г.) с рисунком, изображающим  
хлебопечение в деревне

### Г Л А В А XXXV.

Маланья по приказу Управителя  
рассказываетъ писарю, какъ долж-  
но печь хорошіе хлѣббы и дѣлать  
доброй квасъ.



Когда пьютъ доброй квасъ, хорошей хлѣбъ ѣдятъ,  
Такъ съостоитъ такой здоровью не вредитъ,  
Но бодры, веселы при щихъ своихъ бываютьъ,  
И голода тогда хозяева немяютьъ.

того со многими простыми людьми в разговор вступая нашел, что хотя большая часть и не сомневается о будущей жизни, но понятия их об ней столь недостаточны и отчасти так неправы и коротки, что я дивился их незнанию и той великой темноте, в которой они в рассуждении как сей, так и других важнейших до закона христианского истинн находятя. А на вопросы мои, для чего они ничего не знают, принужден я был с сожалением слышать тоже, что им знать того непочем; что они люди безграмотные, а обучений от попов они никогда не слыхивали. Всего же больше меня удивило, что я из слов их усмотрел, что все христианство их состоит в том, чтоб кой когда сходить в церковь, поставить образам свечки, помолиться богу, послушать пения и чтения, которого не разумеют, велеть отслужить через два в третьей кой когда молебен или по умершему панихиду, не есть в посты мяса, сходить к попу на дух и к причастию, нимало не зная, что сие значит, а в прочем так жить как живали их деды, то есть, последуя во всем своим пристрастиям и желаниям, нимало о требуемом и для христианина необходимо надобном обращении и очищении сердца своего не помышляя. Изрядное христианство, думал я в то время, а через несколько времени еще паче ужаснулся, когда узнал, что большая часть и самих учителей, сих пастырей душевных, того не знает, чему бы им своих прихожан учить надлежало. «О стыд! О срамота!» принужден я был тогда воскликнуть; не только видеть, но и слышать бы сего между христианами, колыми ж паче между православными, не надлежало.

## II. Письмо к приятелю моему С\*\*\* о петиметрах.

Любезный приятель!

Вчера завел меня знакомец, мой господин Н в одно мне незнакомое место. Хозяин, будучи товарищу моему приятелем, принял меня весьма учтивым образом, и я был угощением его весьма доволен. Компанию не одни мы составляли: было тут несколько человек и других посторонних, которые мне, также как и хозяин были незнакомы. Господин Н не мог отговориться, но принужден был со мною остаться у него обедать. Мы препроводили тут весь день и двое из гостей не давали нам чувствовать скуки. Веселый нрав одного и велеречивость другого могли довольно упражнения сыскать для наших сердец и мыслей. Одним словом, сколько я в больших и незнакомых компаниях ни скучлив, но был бы совершенно сею компаниею доволен, еслиб одно приключение мне внутренней и такой досады не причинило, которую я в сердце своем долго скрывать принужденным себя видел. Чего ни требует от нас иногда благопристойность? Вот она, любезный друг: ты сам ее измеряй по мере чувствий моих, которые тебе известны.

Под самой вечер было уже то, как пришел один мне незнакомой молодец. Убранство, быстрые слова и отменные его поступки дали мне тотчас знать, что он принадлежит к числу нынешних петиметров. Мы в самое то время говорили о законе христианском и удивляясь божескому милосердию, рассуждали о том щастии, которое мы чрез то иметь удостоились, и несмотря на приход нового гостя, разговор наш продолжать начали. Ему был он повидимому не весьма приятен, да можно ль им такие по мнению их пустяки с терпением слушать? Недолго дал он себя сими неприятными для ушей его словами беспокоить, но присев к одному из нашей компании, начал ему с обыкновенными петиметрскими восторгами рассказывать случившиеся с ним в тот день любовные приключения. Крик, с которым они всегда свои размашки сопрягают и те высокопарные и громогласные выражения, которые им вместо доказательств к тому служат, про что они рассказывают, тотчас разговор наш заглушили, так что мы, увидев, что друг друга ни слышать, ни разуместь не можем, принуждены были разговор свой прекратить и места свои оставить. Нашему петиметру то было и надобно. Но что ж такое он начал тогда делать? Чтoб нас своим криком пощадить у него и на уме не было.

Нет! Он вместо того, что прежде с одним разговаривал, начал уже и нас принуждать внимать его повествованию. По несчастию случилось быть мне первому, кому он свое искусство в любовных похождениях рассказывать начал; тотчас были описания за описаниями, истории за историями, и наконец дошло и до здешних женщин и до тех любовных дел, которые имел он в здешнем городе. Сколь мне сия им оказываемая мне честь была приятна, и с какой охотой я слово его слушал, мне тебе сказывать не для чего. Ты знаешь меня; ты знаешь мои мысли; ты знаешь мой нрав и мои склонности и сего уже довольно. Не надобно же мне и о том тебе упоминать, что я отвечал и в каком состоянии был когда он меня о здешних женщинах, а особливо об одной, которую он в тот день в окошке видел и которая будто бы на поклон его весьма приятным и надежду ему подавшим образом соответствовала, вопросами мучил. Одним словом, я сколько ни терпел, но вышел на-

конец из терпения и не знал, что делать. Ты сам рассуди, того недовольно, чтоб мне ему ответы на его вопросы сказывать принуждено было; но он требовал еще от меня на все его предложения моего мнения. Не видя иного средства к избавлению себя от сего новомодного оратора, принял я последнее убежище, я ушел вон, оставив сего думать обо мне, что он хочет.

Несколько минут спустя возвратился я в покои и не мог, чтоб внутренне моему оратору не рассмеяться. Привычка говорить так в нем усилилась, что он не мог ни одной минуты пробыть без сего упражнения. Он мучил тогда уже другого своим красноречием и я радовался, что он стоял тогда ко мне спиною и меня не приметил. Пользуясь сим случаем, пристал я к прочим гостям, которые удалясь в другой конец покоя и севши округ камина, прежний наш о законе разговор продолжали. Но можно ль было мне от прозорливых глаз моего щеголя укрыться? Он меня увидел и подошел ко мне советовал, чтоб я оставя про сии басни старикам рассуждать, ему сделал компанию. Мне ему ответственность недоставало времени. Насмехательные его выражения и те сатирические слова, которыми он меня отзывал, были уже в состоянии вооружить на него всю нашу компанию. Господин П\*\*, которой из нас постарее и христианского закона повидимому ревнитель был, не мог таких насмешек снести и тотчас за закон вступясь, отвечал ему столь разумными словами, кои в состоянии были вогнать каждому в лицо краску, кто бы в ордене бесстыдников ещё ни находился. Но наш петиметр по нещастию был стыдливости крайний неприятель. Ему не только то нимало не воспрепятствовало, но он начал еще язвительнейшими словами смеяться христианскому



ОТЪЕЗД ПОМЕЩИКА ИЗ ДЕРЕВНИ  
Гравюра из книги „Деревенское Зеркало“ (1798 г.)

закону. Ты сам можешь заключить, что тут воспоследовало? Г. П\*\*, мой товарищ г. Н\*\* и прочие, которые в нашем разговоре участие имели, окружили моего щеголя и превеликой шум подняли. Иной его осуждал, иной защищал закон, иной изъяснял свою досаду, иной жаловался, для чего то терпят и так законом ругаться допускают. Одним словом, дело бы до превеликой ссоры дошло, еслиб хозяин не подоспел, и всячески их умирять не старался. Но можно ли было утушить огонь, который каждым еще более возжигаем был. Я не могу тебе довольно описать, как радовалось тогда мое сердце, как я толь многих ревнителей христианскому закону видел, и я сам конечно бы не приминул в том участие взять, если б только не знал, что при таком шуме порядочного ничего говорить не можно, и что все слова будут напрасны. Долго я ожидал, чтоб они порядочно говорить начали; но наконец, согласились все на том, чтоб ему сказывать в чем таком в христианском законе сомневается, а прочим бы разрешать его сомнения; итак начали все порядочным образом говорить. Но долго ли сей порядок продолжался? Не успело и двух минут пройти, как опять и еще больше прежнего шум поднялся. Петиметр наш не столько умел доказывать сколько кричать и чего недоставало ему в знании, то старался он сатирическими своими выражениями наградить. Долго они опять не успокоились, но наконец насказал он наперечет им несколько возражений и требовал ответов. Некоторые из них были такие, на которые товарищи мои не скоро могли отвечать. Я уже дрожал, чтоб они за скоростию в чем нибудь не промолвились и ему бы к возражениям более поводу не дали. По щастию они были осторожны и чего не знали, от того уклоняясь речь на другую матерю приклонять старались. Могло ль сие укрыться от нашего петиметра? Он тотчас приметил и тотчас с вящим усилением требовать на возражения свои начал. Я по сие время молчал и хотя внутреннюю досаду чувствовал, однако давал им по своей воле разговаривать. Но как он мнимую свою победою гордиться начал и радуясь о том от меня согласия с ним требовал, то принужден я был свое молчание пресечь и ему доказать, что он во мне ошибается. Я ему прямо сказал, что нам все должности наши запрещают в таких вещах давать свои согласия, которые самой важности и такие следствия за собой приносят, от которых всякому благоразумному человеку ужаснуться должно. Рассуди приятно ль ему было слышать от того прекословия, от которого он себе подпоры и согласия ожидал. Досадуя, что молодостию своею обманулся, оборотился он со всеми своими возражениями против меня и, выбрав одно, которое он за важнейшее почитал, сказал мне: «Когда и вы, государь мой, столь же ревностным защитником христианского закона себя оказывать соизволите, то прошу мне на один только вопрос отвечать, мне уже того довольно будет». Я отвечивал ему, что хотя я и не такой ученый человек чтоб мог на все возражения без записки отвечать, однако, как должность христианина требует свой закон всеми силами защищать, а не опровергать стараться, то чтоб пожаловал мне, сказал на что такое мне отвечать.

«Вот государи мои» сказал он мне «в чем вопрос мой состоит. Скажите мне: когда закон христианской такою божественною истиною почитается, в котором никакого сомнения иметь не велят, каким же образом видим мы что то, что в одно время за православное почитается в другое за неправовверное признается, что то, что в одной церкви

## УМИРАЮЩИЙ ДВОРЯНИН

Иллюстрация с правоучительной подписью  
из книги „Деревенское Зеркало“ (1798 г.)



Живущий въ мѣждѣ роскошно, невоздержно,  
Подъ старость чувствуйтъ болѣзни неизбежно;  
Иль преждевременно живонъ кончаетъ свой,  
Влача свои грѣхи въ могилу за собой.



начальным членом в вере, то в другой проклятым заблуждением? Не видим ли мы очевидным образом, что папы против пап, соборы против соборов, церковные учителя против других учителей, а иногда один учитель сам против себя, иногда согласие церковных учителей в одно время против согласия церковных учителей в другое время, церковь в одно время против церкви в другое время спорила; одним словом, отчего то великое различие в законах христианских, которое мы видим, и нигде согласия нет. Слично ли сие с достоверностию христианского закона и не может ли навесь сие одному человеку в истине христианского закона сомнение?» «Тому, государь мой» прервал я его речь «может сие сомнение навесь кто, самую вещь оставляя, на одну ее тень смотрит. Отпустите мне сие выражение, продолжите вашу речь». «Я уже все сказал» отвечивал он, «и прошу мне сей вопрос решить». «Очень изрядно государь мой» сказал я «и если все ваши возражения не важнее сего, то немногого труда стоит оные опровергнуть».

Во первых, позвольте мне сказать, что возражение сие уже не новое и тогда еще было, когда мы может статься еще не родились и порядок ваших слов дает мне сомнение, что вы не свои слова, но слова известных английских деистов говорили. Славные их деисты Тиндал и Шилингфорт говорили уже сие и самыми вашими словами. Во вторых, прошу мне возражение ваше объяснить пространнее. В третьих, позвольте мне вас спросить: знаете ли вы начала всем тем между церквами несогласиям и тому причины; знаете ль все те пункты, в которых они между собою несогласны; известно ли вам точное содержание между богом и человеком, а наконец довольно ли вам все священные писания и церковная история знаема?.. Без сего не могу я вам на ваше возражение отвечать, а потому что все мои доказательства мне оттуда брать должно».

Я сими моими требованиями в такое смущение его привел, что он не мог мне долгое время отвечать. Я мог легко заметить, что ему всего того известно не было, что он то только по наслышке говорил. Наконец начал было он некоторые извинения предьявлять, говоря,

что того не надобно; что как бы то ни было, но мы теперь то видим и начальных причин искать непочто; что знание священного писания не столь нужно, а наконец, что говоритья теперь только об том, что ежели б христианской закон истинен был, то никаким бы спорам быть между церквами неможно б было; для того, что об чем спор есть, то уже сумнительно и тому слепо верить не можно. «Так» сказал я «государь мой, ежели всему тому не верить, о чем споры были, то нам и в том сомневаться должно, что снег бел, для того, что один из старинных философов, а именно (ежели вам древняя история известна и вы припомните) Анаксагор утверждал, что снег так черен как чернила и в том ужасные споры поднимал, которое мнение и все его последователи имели. Ежели говорю я—всему тому не верить, о чем споры были, то и тому нам верить неможно, что на свете много людей есть, то и то может неправда, что вы, что г. Н\*\*, что г. П\*\* здесь находятя для того, что целая секта эгоистов утверждала, что на свете более одного человека нет, а что мы других людей видим, то ничто как только нам так кажется)... «Это не может быть сравнено с нашим спором» прервал он мою речь. «Для чего не может?» спросил я «когда вы в одном случае не позволяете, то для чего же и в другом не хотите дозволить?» «Все это ничего» сказал он «то ничто как дурачества и упрямства были, а наш спор не на том оснуется». «Как не на том, государь мой», прервал я его речь «скажите ж пожалуйста, какое начало имели разделение церквей и сектов. Не упрямство ли некоторых людей? Не пристрастия ли их были началом? Одним словом, не известно ли вам каких ради причин многие церкви от других отпали и новую религию сделали? Читали ли вы когда нибудь церковную историю и не известно ли вам священное писание? Вот, государь мой, для чего я от вас требую, чтоб вы мне наперед сказали, известно ли вам все то, о чем я прежде упомянул.

Что ему было ответствовать?.. Он не только всего требуемого мною не знал, но возражения своего изъяснить был не в состоянии. Наконец признался он, что я отгадал и он возражение свое действительно из книг помянутых аглинских деистов взял. «Правда, государи мои» сказал он мне, переменя прежний свой голос и уже снисходительнейшим образом «я как в священном писании так и в церковной истории худой знаток, отроду моего имел к книгам омерзение, и еслиб мне упомянутые мною возражения, которые я в одной книге у одного своего приятеля увидел, не полюбились, то бы и поныне у меня ни одной книги кроме романов не было. Ныне велел я сию книгу выписать и уже целых два месяца ее жду и не могу дожждаться, такие скоты здесь книгопродавцы, я уже ему тройную цену давал, но все не успевает». «Изрядная похвальба, государь мой» прервал я ему речь: «А если б мне на волю дали, то бы я все их сжечь, сочинителей повесить, печатальщика на каторгу сослать, а книгопродавцев кнутом пересечь велел». Строгость моя воспламенила опять моего соперника.

«Что так строго государь мой?» сказал он мне с превеликой вспылчивостью «Разве за то что они человекам истинную пользу показать и тем лучшую услугу сделать стараются?» «Истинную пользу» сказал я захохотав «истинной вред скажите лучше, государь мой, а не пользу». Сие еще пуще соперника моего воспламенило. «Полно сударь насмехаться сим образом» сказал он мне «Вы что б ни говорили, но я тому не поверю. Возможно ли статья, что бог, сие по собствен-

ному вашему признанию, о спасении людей пекущееся существо, до таких заблуждений, до таких расколов, до таких несогласий и до такого злого употребления своего святого слова допустил, если бы то было правда, что христианской закон точно от него свое начало имеет?..» «Мне больше сего не надобно» — подхватил я его речь — «Вы мне, государь мой, сими вашими словами ясно доказали, что вы ни священного писания, ни точной христианского закона истории и обстоятельств, ни божеских свойств не знаете, чем же мне вам доказывать?..» Сии мои слова тронули его, самолюбие не столь было мало, чтоб ему в своем незнании признаться было можно. Он отважился сказать, что ему все то не столь незнаемо, как я думал и чтоб я сказал ему свои доказательства.

«Очень изрядно» отвечивал я «но мне ваших уверений не довольно: вы должны мне наперед сказать в каких пунктах все те несогласия, в существительных ли или побочных и какие в христианском законе существительные и какие побочные пункты?»

На сие мое требование долго не мог он ничего ответить и наконец, сложив прежнюю горячность, усмехнувшись, сказал, что он про сие никогда и не слыхивал какие существительные и какие побочные пункты. «Вот, государь мой» сказал я ему рассмеявшись «сим образом нам и спорить не о чем. Научитесь наперед знать, что христианской закон, что священное писание есть. Прочтите сперва светские и церковные истории, изострите ваш разум здравою философию, вникните наперед в богословие и тогда придите ко мне и делайте ваши возражения, а без того я бы вам как друг никогда не советовал подражать ветреным и таким головам, которые сами не знают, что говорят, приниматься не за свое дело и такое опровергать отваживаться, что свято и от чего единого ваше спасение зависит и что вам всего на свете нужнее и полезнее. Я вас уверяю, что когда моему совету последуете, то мне и прочим таковых возражений делать и сами не станете и с такою же строгостию станете писателей, печатальщиков и книгопродавцев осуждать, как осуждал я и что началом было нашей ссоры. Не закон, государь мой, ежели вы знать хотите, тому виноват, что церкви разделились; виноваты тому наши предки. Закон всегда справедлив был и справедлив ныне. Но несправедливы были поступки разных учителей и священного писания кривотолков; а и то притом знайте, что первые пункты христианского закона во всех знатнейших религиях согласны, а споры по большей части о побочных, а иногда и о самых ненужных вещах поднимаются. А когда вам то сумнительно, для чего бог свое святое слово до такого злого употребления допустил, на то скажу вам, государь мой, что человек весьма мал и слаб к предписанию правил своему творцу и к требованию от него в его делах отчету. Довольно, что ему допустить до того было угодно, а он уже знает, что творит. А ежели вам и сего мало, то скажу вам, что он сие знал и знает. Прочитайте только евангелие и апостолов, вы найдете, что все то от Христа и от апостолов было предсказано. Прочтите, государь мой, их со вниманием. Вы получите от того и другие пользы. И ежели мой дружеской совет принять похотите, то пошлитеж завтра к книгопродавцу, велите сказать, чтоб он вам Тиндала не выписывал, но прислал бы вам библию, читайте, государь мой, ее прилежно и верьте моему слову, что вы в том никогда не раскаетесь».

На что мне тебе, любезный друг, сказывать в каком состоянии был мой соперник во время всей моей предики: ты сам то представить себе можешь. Сколь он ни бесстыден, не мог, чтоб не получить в лицо краску. Ни одного слова не мог он более выговорить и, видя себя сим образом пред всеми теми осмеянного, над которыми он себя победителем почитал, принял последнее к скрытию своего стыда убежище, а именно: сказал, что ему сидеть нет боле время, схватил свою шляпу и, пожелав нам доброй ночи, ушел прочь. Рассуди, какой смех подняли все гости, его препроводивши. Они благодарили мне, что я его так отпотчивал, а я просил прощения у хозяина, что в его доме такую непростительную неблагопристойность сделал. Она мне не только была прощена, но меня и хозяин еще благодарил, что я чрез сие может быть отважу от него сего гостя, которому он редко рад бывает. Вот вам, любезный приятель, вчерашнее мое похождение. Оно почти тем и кончилось, ибо мы скоро после того и все разошлись. Хозяин и каждой из прочих гостей звали меня к себе, я принужден был им обещать, и так мы разстались.

Теперь я стану с тобою, любезной приятель, говорить. Вчерашняя моя история пусть будет материю, о которой мы говорить станем. Каков тебе мой петиметр показался? Какого мнения ты о сих людях? С моей стороны я всегда к ним сожаление имею. Люди которые ко всему способны б быть могли. Люди которым пред другими полированной разум приписать можно. Люди способные к лучшайшим чувствам и благородным склонностям. Люди которым одной прилежности и охоты к наукам не достает. Люди от которых со временем толикой для отечества пользы уповать можно. Люди которые бы не могли посрамить свое отечество. Сии, говорю я, люди испорчены, заражены, наполнены одним ветром, суетными замыслами, рабы своим страстям, живут в роскошах, ни о чем не думают, как о мотовстве, о шалостях, модах, орденах, играх и о удовольствовании испорченных склонностей. Пить, есть, спать, щеголять, непостоянничать и вертопрашить одно их упражнение есть. Но куда девается та надежда, которую отцы, которую сродники, которую отечество от них ожидает? На что употребляются их способности, которыми они одарены? Куда девается та польза, которую им принести бы надлежало? Что получают те труды в награждение, с которыми они воспитываемы были и чем возградят они те издержки, кои на них истрачены? Тем ли, что все их не трогает? Тем ли, что все должности им рассказами кажутся? Тем ли, что и самые истины, кои основанием нашего благополучия, основанием всех наших дел, всего нашего покоя, всего упования суть, им баснями или химерами кажутся? Тем ли, что сею заразою не только себя заразив, но и других заражают? И та ли от них надежда, тали благодарность отечеству будет, когда они бездельными своими поступками свою породу, своих родителей, своих сродников посрамят и отечеству в позор, а не в славу служить будут! Изрядные слуги! Изрядные сограждане! И достойные носить имя сынов отечества. Но что я говорю?... Помню ли я себя и помню ли где я и когда живу? Златой ли ныне век? Забыл ли я что ты то мода? Забыл ли я что она наверху всех законов поставляется? Забыл ли что она над всеми господствует и одна она всего вяще почитается? О мода! щастлива ты, щастлива говорю, что в наши времена на свете обитаешь. Была бы ты когда в времена древние, была бы ты когда в времена многобожия, тебя

бы тогда богинею почитали. Но было ль бы тебе толико жертв, было ль бы толико гекатомбов, было ль бы такое поклонение и было ль бы такое почтение, какое ты от нас себе принимаешь.

Уйми меня вратъ, любезный приятель! Но что я говорю, ты сам бы то же сделал. Мне нечего тебе толковать тот вздор, который мне на мысли теперь вспал. Ты знаешь про что я говорю, ты знаешь про что я думаю... Но полно про сие; письмо мое длинно, пора его окончить.

Смеялся ли ты, сожалел ли ты о глупости, буйстве и слепоте рода человеческого? Я уже довольно то чинил, однако каждый день при-



## КАБАК

Зарисовка Х. Гейслера времени пребывания его в России (1790—1798 гг.)

Раскрашенная гравюра из альбома „Mahlerische Darstellungen der Sitten, Gebräuche und Lustbarkeiten bei den Russischen, Tatarischen, Mongolischen und anderen Völkern im Russischen Reich von C. G. H. Geissler“. Leipzig, 1804.

нужденным себя вижу вновь то повторять. Скажи ты мне, будет ли конец всем глупостям? И будет ли время, когда бы тень вместо вещи копить и ветер глотать перестали?

#### 4. РАССУЖДЕНИЕ О СРАВНИТЕЛЬНОЙ ВЫГОДНОСТИ КРЕПОСТНОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО ТРУДА.

Можно ли с достоверностию предположить и может ли кто в том с надежностью поручиться, чтоб такая важная и великая во всем положении нынешнем и обстоятельствах перемена могла пройти с миром и спо-

койно и не произвестъ собою какихъ либо бедственныхъ и опасныхъ последствий? Ежели посудить о семъ по известному еще грубому невежеству нашего простого народа и великой еще дурноте нравственныхъ харектеровъ множествъ людей оной составляющихъ, то спокойного и мирного минования сей мрачной тучи не иначе можно ожидать, какъ отъ особой милости правителя всемъ миромъ, управляюща судьбами всехъ челоуековъ. Но что, ежели мы почему нибудь таковой милости не будемъ достойны? Что ежели вопреки тому, сего, такъ сказатъ, чуда для насъ не воспоследуетъ? Что ежели при сравнении нынѣшняго положенія делъ и всехъ обстоятельствъ съ заведенными однажды и порядочно идущими часами, въ которыхъ главная пружина приводитъ въ движеніе первые колеса, а сии, цепляя за другіе побуждаютъ къ тому же третии, а сии четвертые, и все движеніями своими производятъ наконецъ безъ всякой поспешности желаемое действие, положимъ напримеръ, чтобъ некоторые изъ нужнейшихъ колесъ, соскочивъ съ своихъ мѣстъ не стали попрежнему действовать, то не произойдетъ ли отъ того во всей машинѣ великое паки расстройство и въ допрежнемъ общемъ движеніи и действе остановки, и что, если оную поправить и восстановить будетъ трудно и неудобно? Или сравнивъ нашъ народъ съ рабочимъ скотомъ, состоящимъ въ повиновеніи у своихъ хозяевъ и лошадыми, состоящими на стойлахъ, положимъ чтобъ при таковой перемене уподобились бы они необъезженнымъ конямъ, стоявшимъ до сего на привязи и вдругъ спущеннымъ на волю? Нельзя ли опасаться того же чтобъ произошло съ сими послѣдними и чтобъ не было произведено отъ нихъ несметныхъ золъ, могущихъ обратиться не только самимъ имъ въ пагубу, но и въ существенный вредъ всему отечеству, съ тою при томъ опасностію, что испорченное темъ дело весьма трудно будетъ и поправить, и могущее воспоследовать во всемъ расстройство привесть [въ] порядокъ и устройство. Съ сей стороны ничто такъ не наводитъ опасенія [какъ], крайняя глупость, непросвѣщенность, грубое невежество и свойственная ей дурнота нравственнаго характера нашей черни, весьма неспособной еще къ тому, чтобъ имѣть правильное понятіе о свободѣ. Сколь легко тогда по свойству нашей черни можетъ произойти то, что возмечтаетъ она, что свобода въ томъ должна состоять, чтобъ не только быть совершенно вольными, не состоять ни у кого въ повиновеніи и ни на кого даромъ не работать, но и не платить никакихъ никому и ниже самыхъ государственныхъ податей и не отправлять никакихъ повинностей. Что чернь наша въ состояніи имѣть таковыя ни съ чемъ несообразныя и сумасбродныя мысли и, заразясь такою мечтою, вдаваться въ звериное буйство, то доказали намъ времена не весьма еще отъ насъ удаленныя и находящіяся еще у всехъ въ свежей памяти. Кому не известно, что происходило во время пугачевщины и почему знать не кружатся ли въ глупыхъ ихъ [умахъ] и нынѣ уже таковыя сумасбродныя о вольности и о прочемъ мысли? И можно ли чего хорошаго ожидать отъ глупости нашей черни, когда во дни наши и французская, несравненно нашей просвѣщеннѣйшая, доказала собою всему свѣту ужаснымъ примеромъ, до чего можетъ доходить простой народъ въ случаѣ дружнаго снятія съ него узды, которою онъ дотоле управляется и въ должномъ повиновеніи содержанъ былъ. Говоритъ же, впрочемъ, пословица, что семь не бываетъ безъ урода, но если и когда сие справедливо, то въ такомъ великомъ семействѣ, какое составляетъ весь нашъ подлый народъ, не всего ль легче можетъ отыскаться несметное множество уродовъ, могущихъ смутить и паче соблазнить и самыхъ умнейшихъ изъ своей братьи и какихъ бесчисленныхъ и необозримыхъ золъ не можетъ проистечь отъ того?

## II. БОЛОТОВ—ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Найденные в ИРЛИ, в архиве «Русской Старины», «Мысли о романах» Болотова—сборник небольших статей о переводной и русской прозе второй половины XVIII столетия.

Как и множество других работ Болотова, статьи эти не были опубликованы ни при жизни автора, ни впоследствии и в течение долгого времени считались утерянными.

В 80-х годах Н. В. Губерти опубликовал в «Библиографе» две статьи Болотова о Карамзине среди других историко-литературных заметок. В комментарии Губерти рассказывает, как он случайно приобрел на базаре рукописный томик. Это был «Современник или записки для потомства» 1795 г.

Этим и ограничиваются публикации из Болотова, посвященные специально историко-литературным вопросам.

Впервые «Мысли о романах» (две части 1791 г.) указаны С. Масловым в описании рукописей Болотова, помещенном в «Земледельческом Журнале» за 1838 г.

Вот что пишет Болотов об этой своей работе в «Записках»:

«Между тем при всех моих хлопотах, разъездах и переездах не оставлял я и своих литературных упражнений и все праздные и остающиеся от дел часы посвящал оным. На меня приди около сего времени охота писать критику на все книги, которые мне прочитывать случалось, и критику особого рода, а не такую, какая и ныне пишется, но полезнейшую... Но дело сие было прямо на безделье и совершенно пустое. Книжки, написанные мною по сему предмету, стоят с того времени по сие никем не читаемые в моей библиотеке и занимают только собой место; пользы же никому не производят и едва ли когда-нибудь произведут, поелику я не с тем намерением их и писал, чтоб могли они когда-нибудь быть напечатаны и обнародованы» («Записки», т. IV, стлб. 799—800).

«Критика особого рода», как и множество других трудов Болотова, не вошла в литературный обиход и осталась достоянием семейного круга.

Однако для историка литературы найденные материалы имеют значительную ценность.

Дело в том, что в эпоху крепостнического абсолютизма, в период, когда только зарождалась буржуазная идеология, критической литературы в том смысле, как мы ее понимаем теперь, не было. (Это и объясняет характерную примитивность критических опытов Болотова.)

Критика была случайным, а иногда и личным делом драматургов, поэтов и ученых, была чужда ясно выраженных социальных тенденций и оставалась в стороне от дворянской публицистики, своеобразно и широко развивающейся в сатирических журналах.

В первой половине столетия она исходит из пиитик, выражающих эстетические представления классицизма.

Теории Роллена, Батте и в особенности Буало переходят к русским литературным кругам, своеобразно связываются с практикой Тредиаковского, Сумарокова и Ломоносова.

Во второй половине столетия появляются работы, все еще исходящие из поэтики классицизма, но воплощающие идеологию сентиментализма растущей европейской буржуазии. Эти работы (среди них не последнее место занимает Сульцер, учеником которого стал Болотов на всю жизнь, познакомившись с его книгой «Разговоры Сульцера о красотах естества» 1777, во время елизаветинского похода в Пруссию) во многом определяют литературную критику второй половины столетия.

Об изменении вкусов дворянства и о столкновении классицизма, а вместе с ним и феодального мышления с сентиментализмом необычайно ярко свидетельствуют критические опыты Болотова, в особенности «Мысли и беспристрастные суждения о романах».

Как самый низкий жанр, в котором в пору упражняться корысти ради, для увеселения купцов и гостинодворцев, в эпоху классицизма роман, по существу, не считался достойным серьезного обсуждения.

Но успех прозаических сочинений все чаще и чаще к концу столетия заставлял писателей, а также издателей журналов обращаться в их сторону.

Сумароков еще лаконичен: «Хорошие романы хотя и содержат нечто достойное в себе, однако из романа в пуд весом одного фунта спирту не выйдет».

Мейерс посвящает романам в конце своей книги две страницы из 344. Самый характер прибавления говорит о том, что тема упорно требовала внимания. «Романы... разным образом зловредны бывают разуму и назначению девиц и молодых

людей. Привычка читать романы пагубна или опасна, хотя бы ни против одного читаемого романа порознь ничего сказать нельзя. Но дабы романы не только были не вредны, а еще для особ здравого разума и сердца в свободные часы доставляли приятное или наставительное занятие, то они должны соединять в себе многие преимущества, которых самую малейшую развее часть можно найти в нынешних романах... Немцы может быть превосходят другие нации множеством романов, а русские пропастью их переводов, но не могут поставить ни единого против сочинений Фильдинга, Смоллета, Руссо, Вольтера и Ле-Сажа» («Главные начертания теории и истории изящных наук» Мейнерса, профессора философии в Геттингене, переведено с немецкого Павлом Сохацким, М., 1803).

В письме к Москотельникову Каменев, автор первой романтической баллады «Громвал» и казанский негодник, как его рекомендовал Карамзину Лопухин, писал: «Карамзин советовал мне читать новейшие романы, утверждая, что ничем нельзя столь себя усовершенствовать в истине, как прилежным чтением оных» («Вчера и Сегодня» 1845 г., кн. I).

Трудно сказать, в такой ли точно форме советовал Карамзин Каменеву чтение романов. Херасков едва решился писать прозой своего «Кадма и Гармонию».

В статье о книжной торговле и любви к чтению в России в «Вестнике Европы» (1802, № 9) Карамзин писал, что «в самых дурных романах есть уже некоторая логика и риторика», и тем самым допускал их чтение.

Насколько интерес к романам повысился к концу столетия и в начале XIX в., свидетельствует «Письмо из уезда» к издателю «Вестника Европы» (1808, № 1) (Жуковского): «Раскройте «Московские Ведомости»! О чем гремят книгопродавцы в витийственных своих прокламациях? О романах ужасных, забавных, чувствительных, сатирических, моральных и прочее и прочее. Что покупают охотнее посетители Никольской улицы в Москве? Романы».

Болотов чтением романов увлекался еще в 1760-х годах в немецком университетском городке Кенигсберге. В семилетнюю войну он в походах не расставался с «Телемаком» Фенелона.

Европа привила Болотову буржуазные вкусы, но к сочинению «Мыслей о романах» его несомненно привел интерес конца XVIII столетия к прозе.

Мы уже отмечали выше: с развитием капиталистических отношений к русскому классицизму присоединяется сентиментализм, частично органически с ним сливаясь, частично преодолевая его традиции. Одновременно смещаются жанры; трагедия теряет свое превосходство, и «подлая проза», опираясь на возрастающий круг читателей, вступает в борьбу за первенство с поэзией.

На критических оценках Болотова с очевидностью вскрывается этот процесс. С одной стороны, для Болотова еще существуют стойкие представления о жанре романа. Почти в каждой рецензии он упоминает о величине книги, которая для Болотова—одно из мерил ее ценности, мерило, от которого ему еще трудно отказаться.

С другой стороны, в статье о «Русской Памеле» Павла Львова Болотов высказывает следующее симптоматичное пожелание: «хорошо если б написал нам кто такой русский роман, в котором соблюдена была б наистрожайшим образом натуральность и правдоподобие, и в котором бы все соотносилось с российскими нравами, обстоятельствами и обыкновениями»...

Там же Болотов высказывает следующую для своего времени необычайно «революционную» мысль о том, что следовало бы перейти от таких фамилий как Плуталов и Честон к простым, так как это более «натурально».

Перейти к «натуральным» именам трудно было даже Карамзину.

Не менее интересно употребление Болотовым слова «натурально». Оно встречается почти в каждой его критической статье.

Понятия «ненатуральность» и «натуральность», верность натуре, отсутствуют в пиитиках классицизма. Выбором, установлением и обсуждением достоинств образцов занят западный и русский классицизм на протяжении всего времени своего существования.

Верность натуре—это термин 30-х годов XIX столетия, термин романтизма, а в России—натурализма Гоголя.

Тем интереснее его появление у Болотова.

Замечательной чертой времени был тот факт, что эта литературная революционность очень часто соединялась с глубокой политической реакционностью и наоборот. Решительный и непреклонный новатор в литературе, Карамзин стоит на реакционных консервативных позициях и в александровское время решительно выступает против конституционных проектов Магницкого.

А. Т. БОЛОТОВ

Акварельный автопортрет (1780 г.)

Русский Музей, Ленинград



Между тем литературно-реакционная группа Крылова и Клушина оказывается в дружбе с идеями Радищева. Здесь не место подробно вскрывать это противоречие, но оно не случайно, и у Болотова в «Мыслях о романах» мы с ним встречаемся еще раз. М. Н. Покровский называет Болотовское подсобное хозяйство почти фабричным. «У Болотова мы встречаем и настоящую систему домашнего производства с переходом даже к фабричной системе: крестьянки в окрестностях Серпухова брали пеньку и паклю с парусинной фабрики и пряли в домах своих за плату» («Русская история», т. II, стр. 103). Это знаменательно.

Вместе с тем реакционность Болотова классовая и сознательная. Французская революция для Болотова—тот же Пугачевский бунт. Перенимая буржуазные методы хозяйства и производства, а вместе с ними неизбежно перенося капиталистические отношения, подрывавшие крепостнический строй, дворянство, особенно аграрное, хотело одновременно сохранить в неприкосновенности институт крепостного права, а следовательно и строй, гарантировавший его незыблемость.

Быть может наиболее ярко сказала классовая природа Болотова, рядового среднего помещика-крепостника, занимавшегося в часы досуга литературой, в стихах, написанных в 1794 г.: «Чувствование рожденного во дворянстве».

Мысль, что все мы в свет приходим  
В одинакой нищете  
И как те родятся наги,  
Точно так рожден и я,—  
Дух во мне весь возмущает,  
Вспоминая мне и то,  
Что весьма легко я мог  
Быть таким же, как они,

т. е. быть таким, как весь бесправный крепостной люд.

А. Кучеров

МЫСЛИ  
И БЕСПРИСТРАСТНЫЕ СУЖДЕНИЯ  
О  
РОМАНАХ  
КАК ОРИГИНАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ, ТАК И ПЕРЕВЕДЕННЫХ  
С ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
АНДРЕЯ БОЛОТОВА.

Часть I.

Предупреждение.

Ничто, как желание оказать некоторую услугу тем, кому сия книжка в руки попадется, побудило меня написать и составить оную. Романов, изданных в сии последние времена на нашем российском языке уже так много, и разность между ими в рассуждении качества и доброты их так велика, что почти необходимая уже надобность есть при покупке и чтании оных делать благоразумный выбор, а не все то покупать и читать, что в руки попадется. А как к тому весьма много поспешествовать могут беспристрастнейшие об них суждения и замечания о том, что в котором из них хорошего и что худого есть, то и вздумалось мне, всякий раз, когда не случится читать какой роман, делать об них помянутые замечания, все нужное о каждом для себя записывать. А из сих записочек, собравши оных и составила сия книжка. Писано в Богородицке июля 22 дня 1791 года.

А. Б.

НАСТОЯТЕЛЬ КИЛЕРИНСКОЙ. НРАВОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СОЧИНЕННАЯ ИЗ ПОХОЖДЕНИЯ ОДНОЙ ЗНАТНОЙ ФАМИЛИИ В ИРЛАНДИИ И УКРАШЕНА ЕСТЬ ТЕМ, ЧТО МОЖЕТ ЕЕ СДЕЛАТЬ ПОЛЕЗНЫМ И ПРИЯТНЫМ, ИЗДАТЕЛЕМ, ПОХОЖДЕНИЯ МАРКИЗА Г\*\* ИЛИ ЖИЗНИ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, ОСТАВИВШЕГО СВЕТ. ПЕРЕВЕДЕНА С ФРАНЦУЗСКОГО И НАПЕЧАТАНА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ В 12 ДОЛЮ ЛИСТА В 6 ЧАСТЯХ. 1768л

Книга сия принадлежит к числу больших, плавных романов в свете, сочинена уже давно, славным в свете сочинителем аббатом Прево, и довольно известна во всей Европе.

У нас имела она нещастие попасть в дурные руки для перевода и печати. Переведена дурно и властно как учеником, а напечатана не весьма хорошо, а что того хуже, то и вышла не вся и не в одно время. Первые пять частей изданы в 1768 году, а последняя, шестая, через тринадцать лет после того, но переведена иным, но еще и того хуже, издана надворным советником Рубаном. Переводчик так был незнающ, что даже приписал сочинение сие совсем иному, и такому человеку, который никогда ее не сочинял, а именно маркизу д'Аржансу. Словом книга сия у нас жалким образом испорчена.

Со всем тем составляет она прелюбопытный и такой роман, который может занять читателя долговременным и увеселительным чтением и про-известь ему много удовольствия, почему и не жаль употребить на по-купку его деньги. Они не потеряются по-пустому, ибо как роман он годится читать и не один раз: то могут они и впредь через несколько лет приносить такое же удовольствие, как и сначала.

Слог сочинения сего, хотя не нынешний, короткий, лаконический и замысловатый, а простой старинно манерный, но имеет в себе много приятного.

Правда, в иных местах он многословен и плодовит и поэтому скучноват, но зато в других любопытен, натурален и имеет в себе нечто

нежное, умильное и впечатлевающееся в душу надолго. Может быть много поспешествует к тому существо самых происшествий описанных в сей книге. Сих происшествий превеликое тут множество. Все они отменно любопытны и занимательны, а есть множество нежных и трогательных, а того больше совсем непредусматриваемых и неожиданных приводящих читателя то в сожаление, то в радость, то в сумнение и надежду, и причиняющих ему то удовольствие, то досаду, а при всем том непрерывно поддерживающих его любопытство, возбуждающих желание узнать, что последует далее и заставляющих брать во всем соучастие. Вся связь и сцепление приключений выдуманна и расположена искусно и замысловато. Узлы завязаны хитро и развязаны хорошо. Словом, человек не может устать, читая сей роман и желает непрерывно, чтоб он продолжался далее.

Характеры действующих лиц изображены живо и всегда соблюдены в единоравности.

По большей части они натуральны. Есть хорошие и худые, есть обыкновенные и редкие. В особенности же странностию своею достоин замечания характер самого настоятеля, рассказывателя сей повести и имеющего в ней великое соучастие. Непомерная строгость его нравственных правил, неутомимая его заботливость о благе своих родных, соответствие с их стороны его попечениям и трудам и навлеченные им через то самого на себя хлопоты и печали делают его в глазах читателя даже жалким, и заставляют тужить и сожалеть о нем, а иногда хлопотливости его даже смеяться.

Впрочем если есть что в сей книге достойное опорачивания, так состоит в том, что инде был Г. сочинитель слишком уже многоглаголив вдавался в нравоучения, скучные, бестолковые, поплетенные некстати. Также, что не всем происшествиям придавал надлежащий вид правдоподобности, но некоторые из них им слишком уже натянуты и ненатуральны, особливо при самом конце книги, отчего самый конец сей и теряет много из своей приятности.

Но каковы-б велики сии и другие некоторые недостатки не были, однако читатель прочитав книгу все остается в удовольствии и она остается у него впечатленною в память яко хорошая и достойная чтения.

Описаны в ней приключения, относящиеся до целой фамилии и как семейства, состоящего из трех братьев и одной сестры, происходивших якобы в конце минувшего столетия. Как они подвержены были тысяча разным печальным и радостным приключениям и в обстоятельствах своих великим переменам, и все разными путями достигли наконец до благополучной жизни.

Местом для происшествий избрана Франция и наиболее Париж, однако многие из них отнесены в Ирландию и Дублин, а некоторые и в Мадрид. Происходят они между людьми знатного рода, а имеет и некоторое участие в них и несчастный английский король Яков II, живший в Париже на содержании и имеющий особый двор в Сен-Жерменском предместье.

Пользы дальней книга сия произвесть не может, кроме доставления читателю некоторого удовольствия, и преподания ему некоторого понятия о том, как жил помянутый выгнанный из отечества своего английский король во Франции.

Совсем тем книга сия достойна и у нас таким же образом уважаема быть как уважается она в других государствах, но желательно, чтоб при втором издании перевод был бы поисправлен и напечатана она по-лучше и поисправнее<sup>1</sup>.

ПОХОЖДЕНИЕ НЕКОТОРОГО РОССИЯНИНА. ИСТИННАЯ ПОВЕСТЬ ИМ САМИМ ПИСАННАЯ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ ИСТОРИЮ ЕГО СЛУЖБЫ И ПОХОДОВ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ И СЛЫШАНЫМИ ИМ ПОВЕСТЯМИ. ПЕЧАТАНА В МОСКВЕ В ТИПОГРАФИИ РЕШЕТНИКОВА 1790 В МАЛ. 8 И РАЗДЕЛЕНА НА 2 ЧАСТИ. ИМЕЕТ В СЕБЕ 403 СТР.

Надпись объясняет уже довольно какого рода сия книга, и сочинитель не солгал, назвав ее истинною повестью, а почему она и не принадлежит к романам, если б не утаены были имена, то могла б относиться более к историческим или паче биографическим книгам, буде она такового названия достойна быть может.

Сочинитель оной есть действительно россиянин и сочинение сие оригинальное российское самых последних времен, но сочинение такое, которым отягощена только публика к истинной досаде всех любителей литературы, и которое не к славе, а к бесчестию наших российских писателей служит.

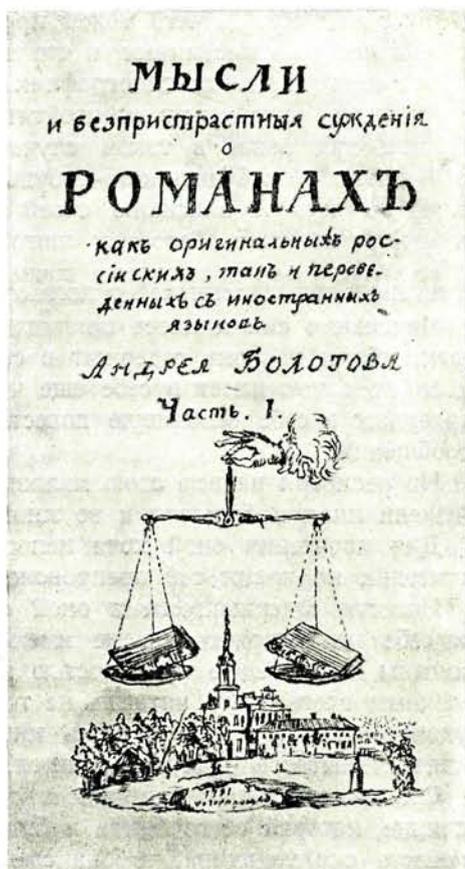
Господину сочинителю сей книжки восхотелось оказать по мнению его опыт любви своей к отечественникам своим рассказанием им повести о самом себе, но повести такой, о которой истинно никто бы не потужил, еслиб осталась она навек погребенною в уме господина сочинителя. Да и для него бы в сем случае произошла та польза, что никто бы не знал о качествах его разума.

Истинно понять невозможно, что бы побудило его подарить публику таким подарком. Вся довольно длинная его повесть не вмещает в себе никаких таких приключений, которые бы сколько нибудь были важны, редки, любопытны и могли хоть несколько занять читателя, а вся состоит она в повествовании о самых мелочах, ничего не значущих ездах, походах, службах и волокитах.

Сочинитель оной, или герой самой повести был как видно сын какого нибудь церковника, отданного в рекруты и дослужившегося до унтер-офицерского чина. Отцом своим отдан он был учиться грамоте, сперва церковнику, а потом в Казанскую семинарию, после записан был в службу; таскался всюду с отцом, был в Пруссии во время войны, в Мемеле, в Кенигсберге и опять в отечестве; потом в Польше при случае усмирения нашими войсками конфедератов. Тут, будучи однажды в Тороне, слюбился он с одной немкою, и на ней после того женясь, волочился с нею по всей Польше и потом в Молдавии при начале прежней турецкой, румянцовской войны, влачил жизнь в самом низком унтер-офицерском чине, бывал несколько раз при канцеляриях и наконец дослужившись офицерского чина, отставлен, возвратился на свою родину, неподалеку от Москвы, потом приехал в сию столицу и тут переменяв службу продолжает и поныне свою жизнь.

Во всю сию долговременную его жизнь, службу и волокиту не случилось с ним ни единого такого приключения, которое редкостью своею стоило бы описано быть. Нет во всей повести его ничего удивительного, ничего увеселительного, и ничего такого, что бы достаточно было хотя некоторого внимания и любопытства. Но все сие ничего бы еще не значило, если бы рассказано было обо всем порядочно, просто и натурально: но к несчастью и сего нет. Но господину сочинителю,

Титульный лист рукописи А. Т. Болотова „Мысли и беспристрастные суждения о романах“ (1791 г.)  
Институт Русской Литературы, Ленинград



ничего порядочно неучившемуся, а как видно читавшему только несколько романов и книг, к несчастью захотелось еще умничать, и украшать свою повесть, но совсем некстати и не впадет и вовсе неумеючи, таким слогом, какой нимало ей неприличен, и наполнять ее множеством таких слов, речений и фигур, которые столь же ей приличны, как к дурной корове богатое, великолепное седло. Словом, господин сей принялся совсем не за свое дело, а гораздо бы лучше сделал, если бы сидел себе с покоем и молчал.

Но что всего смешнее и нескладнее: то неизвестно уже совсем, для чего вздумалось господину сочинителю сей книги, посреди самой своей повести поместить несколько сказочек, из коих одна другой глупее и нескладнее; и помещены тут, как в пословице говорится: ни к селу, ни к городу и ни малехонько некстати.

Коротко, сочинение сие наполнено столь многими несовершенствами что великое надо иметь терпение, ежели хочешь прочитать всё оное сначала и до конца. А непомерное умничанье господина сочинителя и охота к подражанию другим сочинителям совсем без уменья, так досадна, что иногда читателю даже самому себя стыдно, что он такую нелепицу читает. При таковых обстоятельствах всякому неинако как сожалеть надобно, что книга сия произошла на свет. Она приносит собой худую честь нашему отечеству и всего меньше достойна занимать место в библиотеках, а разве только для единого свидетельства и дока-

зательства тому, до чего может простирается самолюбие и охота к прославлению себя писемиями, и что может происходить от вольности печатания книг в разных типографиях и от недостаточности цензуры оным.

Наконец, если может произойти от сей книги впредь какая-нибудь польза, так разве в таком случае, если она столь счастлива будет, что удастся ей побудить кого-нибудь иного из Россиян к такому предприятию, то есть к описанию своей жизни, однако, не таким, а лучшим и порядочнейшим образом и слогом<sup>2</sup>.

РАЗНЫЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ СОЧИНЕННЫЕ НЕКОТОРОЮ РОССИЯНКОЮ. ПЕЧАТАНА В МОСКВЕ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ 1779. 8. 114 СТР.

Маленькая сия книжка принадлежит к числу романов самых мелочных, ибо и вся она содержит в себе с небольшим только сто страниц, а со всем тем имеет в себе еще четыре отделения, из которых каждое содержит в себе особливую повесть, не имеющую с другими никакого сообщения.

Но несмотря на всю свою мализну достойна она множайшей похвалы, нежели иная и большая и во многих томах состоящая.

Для прочтения оной хотя непотребно более одного или двух часов времени, но время сие препровождено быть может с приятностью.

Повести содержащиеся в оной сами по себе, хотя ничего дальнего в себе не содержат, но не имеют ничего и нескладного и дурного; писаны же с такою приятностью и таким особливым полугероическим, нежным слогом, что читаешь не только без скуки, но с особливым еще удовольствием, и в нем столь много пленяющего, что приятность его впечатлевается в душу и остается надолго в ней впечатленною.

Словом, книжка сия приносит особливую честь той неизвестной россиянке, которая ее сочинила и буде то действительно так, что сочиняла повести сии женщина, то она сделала тем великую честь своему полу и весьма жаль, что она не означила своего имени, ибо беспристрастно можно сказать, что в маленьких сих повестях находится столь много доброго и столь много черт хороших сочинений, что подают они весьма хорошее понятие о разуме и дарованиях сочинительницы и побуждают желать, чтоб госпожа сия упражнялась в сочинениях такого рода далее: ибо легко б могла сделаться чрез то славною сочинительницею.

Коротко, книжка сия слогом своим отменна от весьма многих и принадлежит к хорошим и таким книгам, каких делать бы надобно, чтоб было больше на нашем языке.

Она, как ни мала, но достойна иметь место в библиотеках и занимать оное между хорошими книгами.

Повести, содержащиеся в ней имеют следующие надписи:

I. Супружеская верность. II. Гармара. III. Приключения Честомысла. IV. Звезда во лбу или знак добрых дел.

Все они имеют в себе много печального, много приятного и удовольственного, а последняя и нечто трогательное и столь поразительное, что в состоянии извлечь слезу удовольствия из читателя, имеющего чувствительное и добродетельное сердце.

НЕПОСТОЯННАЯ ФОРТУНА ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ МИРАМОНДА. СОЧИНЕНИЕ Ф. ЭМИНА. ПЕЧАТАНА ВТОРЫМ ТИСНЕНИЕМ В МОСКВЕ В НОВИКОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ В 1781 ГОДУ В М. 8. 3 ЧАСТИ. ВО ВСЕХ 847 СТРАНИЦ МЕЛКОЙ ПЕЧАТИ.

Книга сия, по величине своей, принадлежит к первому классу или ко большим романам, ибо она не так мала, чтоб ее в один день прочесть было можно, но иному и целой недели к тому мало.

Сочинение сие оригинальное российское и писано в Петербурге, в начале царствования Екатерины Вторья, что потому можно судить, что приписана она господину Орлову в то время, когда был он еще графом и не на верховнейшей своей степени.

Если б можно было о доброте книг заключать по скорому раскупанию оных и по числу изданий, то всякой бы подумать мог, что и сия книга хороша и в особенности достойна чтения, потому что менее нежели в двадцать лет все первое ее издание распродано пока удостоилась вторичного издания.

Однако надобно быть либо слишком уже пристрастну, либо не иметь в книгах сего рода вовсе никакого вкуса, если хотеть называть ее хорошею и почитать любопытного чтения достойною. Но напротив того, она наполнена столь многими дурнотами и несовершенствами, что ежели б хотеть все их показывать и исчислять, то можно бы написать такую ж большую книгу, как и сама она.

Сочинитель уже во первых тем смешным себя сделал, что всячески и бесстыднейшим образом старался всех уверить, будто-бы описанные в ней происшествия с Мирамондом и приятелем его Феридатом основаны на самой истине и что будто сам он в лице Феридата имел в них соучастие, хотя всякая почти строка наияснейшим образом доказывает, что книга сия составляет суший роман, наполненный тысячью лжами и выдумками и притом такой, который добротою своею, как небо от земли удален от хороших.

Сколько кажется, то главная и единственная цель сочинителя состояла в том, что ему хотелось посредством одного спознакомить нашу российскую публику с самим собою яко иностранцем короче и подать понятие сколь знание его света, наук, мифологии, географии, истории разных народов и их обыкновений обширны и какими совершенствами одарен он с сей стороны от природы и провидения—также, чтобы выдуманием многих редких и странных приключений, и приданием вида, якобы он сам в них имел соучастие подвигнуть публику взирать на себя с любопытным оком и с сожалением.

Чтоб удобнее можно было бы до первой из сих главных целей достигнуть, то и наполнил он книгу свою не столько описаниями происшествий, сколько описаниями разных земель, городов, народов, их обыкновений и обрядов и множеством всякого рода ученых рассуждений о вещах различных и нimalo к таковым повестям неприличных. А чтоб достигнуть до второй цели, то выдумал и затеял превеликое множество приключений и сделал героев повести своей сущими авантюриерами или проходимцами сквозь огонь и воду и сквозь всяческое дурное и хорошее.

Но все сие сделал он весьма неискусно, дурно и совсем неудачно. Географические и исторические его описания разных стран и народов и политические, равно как и прочие нравственные и ученые его рассуждения могли б по справедливости быть хороши и полезны, но не здесь, а составляя особую книгу или будучи вплетены в какое нибудь выдуманное путешествие. А тут помещаемы они были им не только совсем некстати и не у места, но очень часто так неловко и непристойно, что без досады на сочинителя и на непомерное его и совсем неприличное умничанье, никакому благоразумному читателю их читать не можно. Есть множество мест, в которых он не только досаждаёт вкус имеющему читателю, но даже мучит его немилосердным образом и заставляет

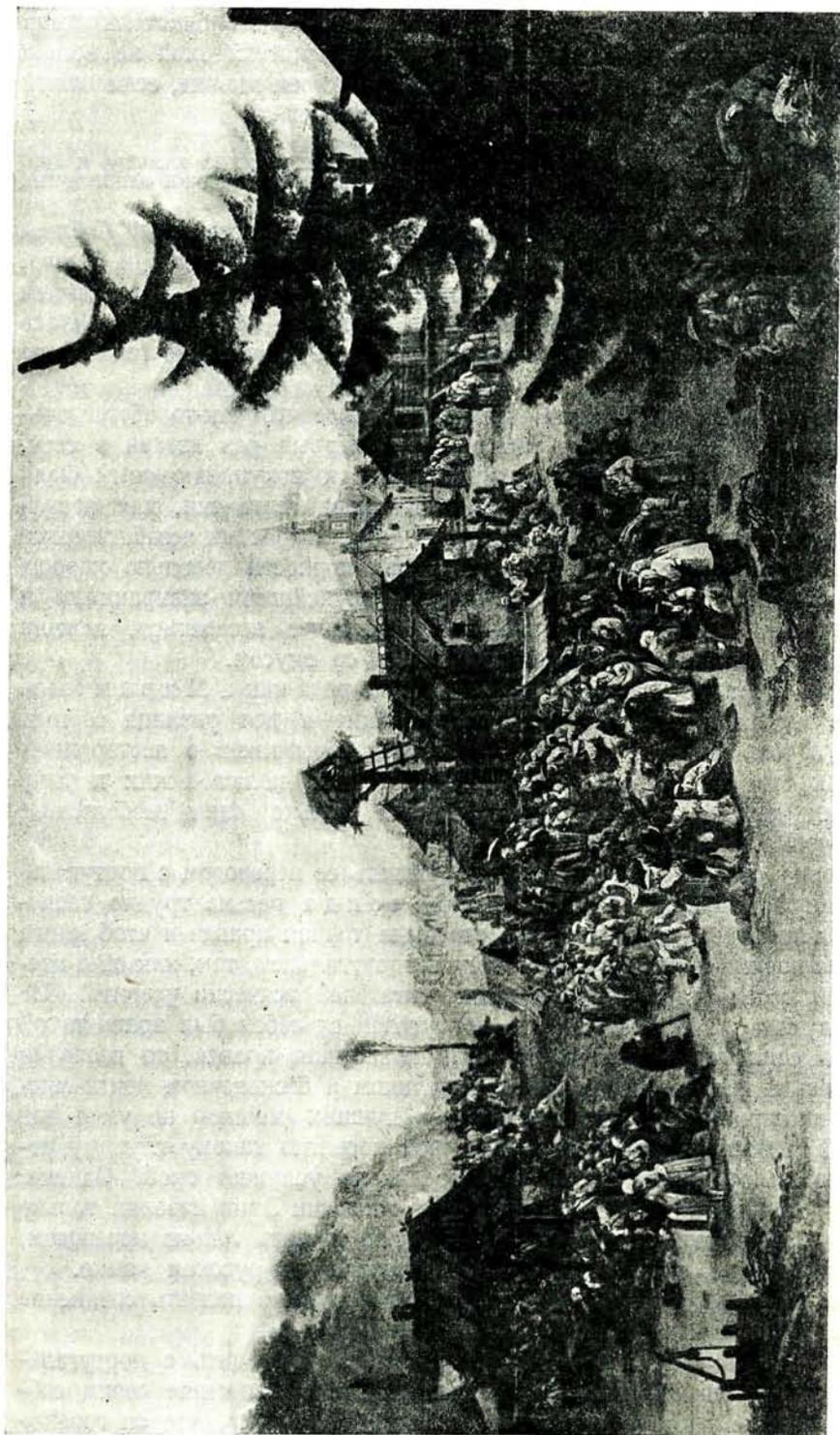
поневоле бросать даже из рук книгу и не хвалит, а поносит самый прах сочинителя таким образом, как он в самом деле незаслуживает.

Что же касается до самых приключений и сплетения их то по множеству оных и великому многообразию моглиб они составить изрядный и любопытный роман, еслиб не изгажены они были толь немилосердно, а описаны-б были лучшим и натуральнейшим образом; а то в описании и оных наделана тьма погрешностей. Сочинителю что-то угодно было и их все жалким образом испакостить непомерными, совсем излишними и даже совсем иногда гадкими своими умничаниями и раздабарываниями помещаемыми им всюду и всюду и без всякого разбора и помышления о том, кстати ли они или не кстати, натуральны, или нет. Во всей книге нет почти страницы, которая бы не изгажена была какою нибудь нелепостью или вздором ни с каким благоразумием несообразным. Многие из них наполнены сряду и сплошь такою глупою и вздорною галиматьей, что надобно иметь чрезвычайное терпение, если хотеть прочитывать все сряду и без остатку, и нередко самая неволя заставляет из сожаления к сочинителю пропускать целые страницы или несколько оных сряду, и единственно для того, чтоб не мучить дух свой досадою на умершего уже и нечувствующего того сочинителя.

Коротко, книга сия такого сорта, что ежели надобно чем-нибудь чувствительно наказать человека, привыкнущего читать сочинения хорошие и писанные со вкусом, то нужно только его заставить прочесть сию книгу. Он довольно накажется и верно в другой раз в век свой читать её не похочет.

Словом, сочинение сие такого рода, что истинно довольно тому надивиться не можно, как мог покойный господин Эмин, прославившийся впрочем у нас так много прочими своими благоразумными сочинениями, написать такой несносный вздор, и, поставив пред оным свое имя, предать себя тем не только на посмешище, но и на сущее поругание всех благоразумных.—Всякая народная и простая скаска едва ли лучше всех историй описанных в сей книге. По крайней мере там нет таких нелепостей и несносных раздабарываний, как тут, но не менее-ж удивительно и то, как сыскиваются и охотники многие читать роман сей.—Каков он ни есть, но его читают, и есть люди, которые его еще хвалят и называют хорошим. Явное доказательство, сколь вкус у нас еще несовершен и сколь глупых читателей еще много... Впрочем, во всей книге сей не нашел я ничего трогательного и ничего такого, что-б читателя могло пленить, наставить и привязать в особенности к сей книге. Любопытные пассажи, хотя и есть, но и те так заглушены прочим побочным вздором, что теряют через то всю свою приятность и не производят в душе никакого действия.

Наконец всего страннее и удивительнее то, что сочинителю угодно было, вплетая всюду кстати и некстати всякие умствования, нравоучения и наставления и наполняя книгу свою немилосердно и такою галиматьею, которая всякому и простому читателю скучна, помещать во многих местах между прочим наставления и учения самим государям и земным владыкам властно так как бы он о доброте книги своей так много был уверен, что надеялся несомненно, что книгу его станут читать и самые государи. Вот сколько далеко может заводить самолюбие сочинителей книг и сколь сильно могут они в заключениях о собственных своих трудах обманываться.



ПРАЗДНИК В ДЕРЕВНЕ  
Картина маслом И. Танкова (1779 г.)  
Русский Музей, Ленинград

По всему сему решительно можно сказать, что сочинение сие не к великой чести служит для природной российской библиотеки и она ею не может никак величаться. Да и самые читатели оной не весьма хорошее могут вперить другим о себе по вкусу своему мнению, если книгу сию излишними похвалами превозносить вздумают<sup>3</sup>.

ЛЮБОВНЫЙ ВЕРТОГРАД ИЛИ НЕПЕРЕБОРИМОЕ ПОСТОЯНСТВО КАМБЕРА И АРИСЕНЬ. ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ. ПЕРЕВЕЛ С ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧИК ФЕДОР ЭМИН. 1780. В ОСЬМУХУ. КРУПНАЯ ПЕЧАТЬ. 336 СТР.

Книга сия особливого замечания достойна в нашей российской библиотеке тем, что она, будучи в рассуждении слога своего дурною и такою, что ее никакому, к хорошему слогу привычному читателю, с терпением и без крайней досады и почти омерзения читать не можно, удостоилась второго издания и что первое тиснение оной все в немногие годы было раскуплено.

Причиною тому, как думать надобно, не иное что как-то обстоятельство, что в то время, когда книга сия в первый раз издана в свет, было у нас еще очень мало романов и все к покупке оных были жадны, а легко статья может и то, что какова книга сия, для разумных и вкус имеющих читателей ни дурна, но для простых незаботящихся о слоге грубых читателей, а особливо для подлости довольно хороша и любопытна, ибо сии могут и самыми глупейшими завираньями и пустозвяками столь же хорошо или еще более веселиться, нежели сочинениями писанными хорошим слогом и со вкусом.

Словом, сочинение сие есть такого же точно рода как и М и р а м о н д. Слог и мысли и завиранья в ней одинакие и вся разница состоит только в том, что нет тут несносных раздабарываний о посторонних материях, как то: исторических, географических, политических и тому подобных других вещах, а описываются только одни любопытные приключения.

Издателю сей повести угодно было назвать ее переводом с португальского манускрипта; но читавших М и р а м о н д а весьма трудно господину Эмину уверить в том, что это была точная правда и чтоб книга сия была подлинно писана каким-нибудь португальцем, так, как он в предисловии своем старается незнающих читателей всячески уверить. Не можно думать, чтоб какой-нибудь португалец способен был врать такой вздор, а если положить, что то была подлинная правда, то господин Эмин весьма дурно сделал, что при великом и бесконечном почти множестве иностранных и несравненно сего лучших романов не умел для перевода избрать лучшего, но труд свой посвятил такому глупому роману, и им отяготил только публику, а не услужил оной. Однако, все черты сочинения сего доказывают, что господин Эмин изволил только насчет публики повеселиться, и книгу сию назвать только переводом, а в самом деле сочинил он ее сам и прямо на русском языке.

Что-б тому было причиною, что ему угодно было назвать сочинение сие переводом, неизвестно.

Похвастать ли ему хотелось, что он умеет переводить с португальского языка, или он стыдился уже назвать сие сочинение своим собственным?—Но как бы то ни было, но одно достоверно, что он гораздо лучше б сделал, если б книгу сию не издавал в свет, ибо она не приносит ему ни малейшей чести, потому что в случае [если книга написана Эминым], она глупа, а в случае перевода скверна и гадка.

Впрочем, что касается до самых описанных в книге сей приключений и до сплетения оных, то хотя они и не имеют в себе никаких дальних замысловатостей и чрезвычайностей, могущих составить хороший и трогательный роман, но много в них не натурального, натянутого и из пределов правдоподобия выходящего, однако, совсем тем нарочито изрядные и мог бы составиться из них хороший и любопытный романец, еслиб описаны они были не таким глупым слогом, когда бы не было вмешиваемо в самое дело несносных раздabarываний и господин сочинитель несколько умничал и тем все дело немилосердным образом изгаживал.

Одним словом, еслиб самую ту же повесть рассказать иным тоном и описать инако, то вышла б книга, по крайней мере, достойная чтения и могущая сколько нибудь занимать и увеселять любопытного читателя, вместо того, что в теперешнем своем виде может она его только мучить.

Что принадлежит до сцены происшествиев то избраны к тому места азиатские, а именно аравийские, и все действия происходят между магометанцами; однако нельзя сказать, чтоб характер всех магометанских обыкновений наблюден был в самой строгости, а сверх того и правдоподобия исторического нет никакого.

Итак, по всем вышеописанным обстоятельствам книга сия может наряду поставляема быть с *Мирамондом* и в библиотеках занимать с нею одно место, т. е. самый отдаленнейший высокий и такой уголок, из которого б ее с трудом и только тогда доставать можно было, когда надобно кого из хороших и вкус имеющих читателей вместо наказания чтением дурной книги помучить или хотеть какому-нибудь невежде и простаку, неотвязно просящему дать почитать какую-нибудь книгу. Ибо для такового она довольно уже хороша быть может.

ЛУИЗА ИЛИ ХИЖИНА СРЕДИ МХОВ. ПЕРЕВЕЛ С ФРАНЦУЗСКОГО П. БЕЛАВИН. 2 ЧАСТИ. ПЕЧАТАНА В МОСКВЕ 1790 В НОВИКОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ КРУПНЫМИ ЛИТЕРАМИ В 8, В ОБОИХ ЧАСТЯХ 331 СТР.

Сия недавно у нас переведенная и напечатанная небольшая книжка принадлежит по всей справедливости к хорошим и достойным, не только чтения, но и лучшего и красивейшего напечатания нежели каково напечатана она у нас ныне. Она содержит в себе прекрасный и к концу весьма трогательный и чувствительный роман, сочиненный оригинально на английском языке, на наш уже с французского переведенный. Английская девушка мисс Г\*\* была сочинительницею оной и столько ею прославилась, что одно название сочинительницы «*Люизы или хижины среди мхов*», поставляемое на заглавном листке других ее же сочинения книгах, как например «*Клары и Емелины*» в состоянии было делать сим наилучшую рекомендацию. А сей и одной чести уже для ее довольно.

Сочинение сие в самом деле и достойно того, чтоб упоминать об оном в заглавиях других книг. Его можно назвать прекрасным, а особливо в оригинале. Слог оного весьма приятен, но в переводе нашем несколько потерял своего изрядства. Правда, нельзя сказать, чтоб и наш перевод был дурен. Он довольно хорош и превосходит многие другие: однако и того сказать не можно, чтоб не было в нем никаких несовершенств, а особливо в рассуждении изображения некоторых речений и фраз, которые переведены слишком буквально и на французском языке хороши, а на русском еще не очень обыкновенны и слишком еще новы, как например «*прижимать к сердцу*» или «*святой ангел*»

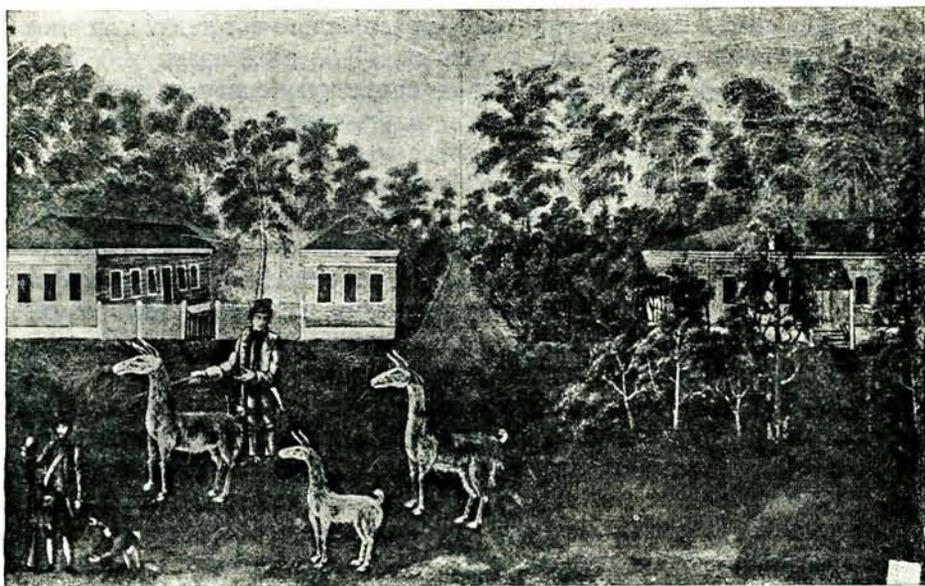
и прочее тому подобное. Однако все сии недостатки не так важны, чтоб они книгу портили, и чтоб переводчика извинить было не можно. Что касается до существа самой повести, описанной в сей книге, то она обыкновенная романическая в новом хорошем вкусе. Повесть рассказывается в третьем лице безпрерывно. Начинается из середины в наименеем месте и потом мало по малу развертывается, а сие и производит то следствие, что сначала она не очень любопытна и интересна, но несколько и скучновата, но зато после тем приятнее и любопытнее. Жаль только, что помянутая нелюбопытная и темная часть оной занимает почти целую первую половину книги, и что читателю неотменно надобно читать ее с превеликим вниманием, если хотеть прямо пользоваться второю несравненно лучшею и тою частию, в которой находится всем узлам прекрасная и множеством чувствительных и столь трогательных мест наполненная развязка, что имеющему мягкое и чувствительное сердце человеку не можно читать их без слез удовольствием производимых. Теперь было бы излишним, если б рассказывать далее о содержании оной, сим много можно уменьшить удовольствие тех, которые книги сей не читали, а довольно, когда сказать, что театром описанных в ней приключений сделана отчасти Франция, а наиболее Англия, что есть в книге сей многие важные незапные и очень трогательные открытия. Есть посягательство на невинность, есть злые ковы и дьявольские хитрости негодных и порочных людей; есть деяния добродушные и благодетельные; есть любовные приключения; есть некоторые ощутительные натяжки и небольшие ненатуральности, и есть особливые случаи, какие в других романах редко приводимы бывают, как например мужья, жены, отцы, матери и дети почитающие друг друга бесспорно умершими, но потом властно как из мертвых воскресающие и прочее тому подобное.

Что касается до соблазнительных и вредных вещей, то в сей книге никаких нет и она сего зла освобождена; но напротив того нет и нравучения в ней дальнего. А все хорошее состоит наиболее в том, что она может произвести читателю довольно увеселения и пред концом заставить его тужить о том, что остается читать мало и наконец оставляет его в совершенном удовольствии и в благодарности сочинительнице, что она умела выдумать столь хорошее сцепление приключений и так искусно и хорошо развязать все завязанные им узлы. Однако нельзя сказать чтоб развязка оных так хорошо была скрыта, чтоб не можно было оной задолго уже наперед некоторым образом предвидеть. Со всем тем и сей недостаток нимало всему делу не мешает.

По всему сему можно о книге сей сказать, что перевод оной на наш язык был неизлишним и наша публика нимало не отягощена ею, но всякий употребивший на покупку оной деньги не будет тужить и не кинет книгу сию разбранив и сочинительницу и переводчика, но охотно приберет ее к месту и даст ей в библиотеке своей место наряду с хорошими и такими романами, которые не могут ее собою опозорить, чего она по справедливости и столь достойна, что еслиб была она и обширнее и более то никто бы о том не потужил б.

ВАЛЬМОР. ФРАНЦУЗСКАЯ ПОВЕСТЬ. СОЧИНЕННАЯ Г. ЛОЕЗЕДЕМ ДЕ ТРЕОГАТОМ. ПЕРЕВЕДЕНА С ФРАНЦУЗСКОГО НИКОЛАЕМ ЛЕВИЦКИМ. НАПЕЧАТАНА В МОСКВЕ В НОВИКОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ 1781 ГОДА В 8, ВО ВСЕЙ 123 СТРАНИЦЫ.

Есть люди, которые сочинением какой-нибудь книжки мнят себя прославить, а вместо того тем только себя обесславливают, и есть другие,



ЗВЕРИНЕЦ В УСАДЬБЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ

Картина маслом неизвестного крепостного художника конца XVIII в.  
Музей, дворец, Архангельское

которые трудятся и потеют над переводом книг, думая заслужить себе тем честь, похвалу и благодарность от своих соотечественников, но вместо того подвергают себя только хулам и браням, наживают себе худое имя и всему тому сами виною бывают.

Единая неосмотрительность и неосторожность их производит сие действие, ибо когда б не предпринимали они дел превосходящих их силы и знания, когда б не были так самолюбивы, чтобы при сочинениях и переводах своих еще умничать, а что того хуже еще именами своими хвастать и кичиться, то по крайней мере никто бы об их не знал и не ведал и никому-бы и на ум не пришло об них говорить. А то надобно не только врать и завираться, но к несчастию еще самим о себе сказывать и дурным как бы хорошим величаться и тем без того худое дело еще худшим делать.

Таковому точно жребию подвергли себя самопроизвольно и господин сочинитель и господин переводчик сей маленькой и в самом существе своем ничего незначащей книжки. Нет во всей оной ничего такого, что б могло какую-нибудь честь принести ее сочинителю и что б стоило того, что б упоминать кем она сочинена и издана в свет.

Роман самый маленький, простейшего рода и не имеющий никаких красот, никаких приятностей и никаких совершенств, хорошим романам свойственных. Нет в нем ничего любопытного, ничего трогательного и ничего отличного и такого, что б достойно было особого примечания. Но напротив того есть множество мест, которые без досады и негодования на сочинителя и без скуки читать не можно. Повсюду встречается единое только глупое и пустое каляканье, повсюду бесконечные монологи и воззвания, повсюду глупые и предлинныя письма и повсюду происшествия, основанные на глупостях и никаких чувствований непроизводящих. А чтоб увенчать глупости глупостью, то и ко-

нец сделан еще пустым и никакого удовольствия читателю неприносящим. А по всему тому, как думать надобно, г. Лоезель де Треогат и в свое время и в отечестве своем невеликую славу приобрел себе сочинением сим, а у нас хоть бы и вовсе имя его было неизвестно, так бы никто о том не потужил.

Что ж касается до нашего перевода, то оной прямо соответствует своему оригиналу или еще во многом превосходит оной. Он наполнен столь многими несовершенствами, что трудившийся в оном заслуживает истинное сожаление. Человек как видно не разумеющий еще ни французского, ни своего природного языка столько, сколько нужно разуместь для порядочных переводов и предпринявший дело превосходящее его силы, трудился и потел, но весь его труд вылился как-то очень неудачен. Многие места и слова переведены им совсем навыворот и почти не русски, а сверх того что-то вздумалось ему на всякой почти строке все речи и слова некаким странным и [неразб.] как бы подражая семинарским красноречиям ни мало романам неприличным перестанавливать и каверкать, а чрез то и без того скучную материю сей книги сделать еще скучнейшею и упорнейшею.

А что того еще страннее, то к переводу своему думая бесспорно, что он очень хорош присовокупил он еще приписание к княгине Дарье Александровне Трубецкой, но приписание такое, которым неуповательно, что б довольно была слишком и сама сия княгиня: ибо она свинчена уже слишком на шурупах и наполнена неумереннейшею лестью. Но хотя б и сего не было, так материя книги сей не такова изящна и хороша, чтоб стоила она предложена быть пред глаза столь почтенной дамы, но скорее может почесться к тому неприличною.

Ибо что касается до содержания в сей повести находящейся, то она вся состоит в следующем: один дворянский сын, отправленный от отца в службу, находит на дороге опрокинутую карету и в ней жену и дочь другого и гораздо знатнейшего и богатейшего дворянина. Он знакомливается с ними, ездит к ним в замок, слюбивается тайно с дочерью и требует ее себе в замужество. Родители с обеих сторон не хотят о том слышать, он прогоняется в полк свой, но заезжает тайно в тот город где была его любовница, находит средство тайно ее видеть и наконец совратить, прельстить и уговорить к побегу с ним. Они уходят в надежде на одного дядю коей не принимает их, но отвергает; они остаются лишенные всякой помощи, скитаются не зная куда и что предпринять и делать. Наконец любовница раскаивается, уходит от своего спутника и пропадает. А он схватывается посланными искать его от отца и сажается в тюрьму. Тут совсем ненатуральным образом пронзает он себе грудь кинутую ему отцом его шпагою и выпускается из темницы. Потом уходит он от отца и будучи офицером записывается в солдаты, и служит несколько лет простым воином и терпит нужды и раны и остается в низком чине, сам не зная, для чего. Наконец нечаянно находит мнимую верную свою любовницу, вместо монастыря, как он думал, на театре комедианкою и на содержании собственного своего полковника. Он идет к ней, ее упрекает и потом мирится. Полковник застаёт его у ней. Хочет его бить, но он отвечает грубо и его закалывает и сажается за то в тюрьму. Комедианка подкупает темничного стража и уходит с ним из тюрьмы, но в бегстве они узнаются. Его схватывают, сажают опять в тюрьму и приговаривают

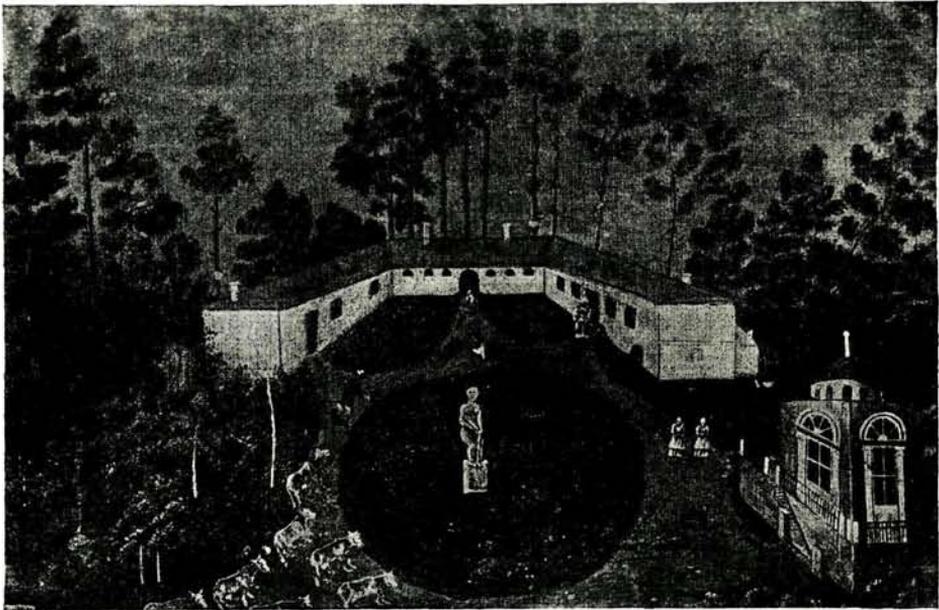
к смерти. Но любовница его казнь останавливает: доносится о том королю, он милосердствует об них и вместо смерти определяет ему наказание тюремное, и тут сидючи в тюрьме пишет он сию повесть, которая по сему и остается без конца: и вся не стоит ничего.

Итак по всем вышеописанным обстоятельствам книжка сия недостойна нимало любопытного чтения, а того менее, чтоб на покупку ее терять деньги. А господин Левицкой гораздо лучше сделал ежели б поучившись получше переводить, употребил вперед между иностранными книгами лучший выбор, а не отягощал российскую публику таковыми книгами, которые не делают честь российской литературы<sup>4</sup>.

ГЕНРИЕТА ДЕ ВОЛЬМАР ИЛИ МАТЬ, РЕВНУЮЩАЯ К СВОЕЙ ДОЧЕРИ. ИСТИННАЯ ПОВЕСТЬ СЛУЖАЩАЯ ПОСЛЕДОВАНИЕМ К „НОВОЙ ЭЛОИЗЕ“ Г. Ж. Ж. РУССО. ПЕРЕВЕДЕНА С ФРАНЦУЗСКОГО В БЕЖЕЦКОМ УЕЗДЕ. ПЕЧАТАНА В МОСКВЕ 1780 В НОВИКОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ В М. 8 МЕЛКИМИ ЛИТЕРАМИ, СОДЕРЖИТ В СЕБЕ 129 СТР.

Ежели книжка сия сочинена самим господином Руссо, то доказывает она собою, что произведения и славных в свете сочинителей, а особливо французов не всегда бывают так хороши, чтоб не можно было об них сказать ничего худого. Всему свету известно, кто был Жан Жак Руссо и сколь много прославился он разными своими сочинениями и между прочим самыми романами.

Со всем тем, если строго посудить, то сей роман не приносит ему никакой особенной чести, и далеко не таков, что б мог служить к приумножению его славы. Если истинное достоинство романов в том полагать, чтоб были они не только любопытны, но не было бы в них ничего ненатурального, для нежного слуха оскорбительного и дурного, также к порокам поощрить могущего, а напротив того было б много живого и деятельного нравоучения, также побудительного к хорошему, а паче всего много таких сцен, которые бы могли трогать внутренность



СКОТНЫЙ ДВОР В АРХАНГЕЛЬСКОМ

Картина маслом неизвестного крепостного художника конца XVIII в.

Музей-дворец, Архангельское

сердце и извлекать из читателей слезы удовольствия и чтоб изображениями хороших и благодетельных деяний душа их приводилась в приятные и восхитительные движения, то признаться надобно, что из всех сих достоинств сей роман не имеет ни единого: но напротив того имеет великие несовершенства и чрез самое то недостоин пера человека толико прославившегося в свете.

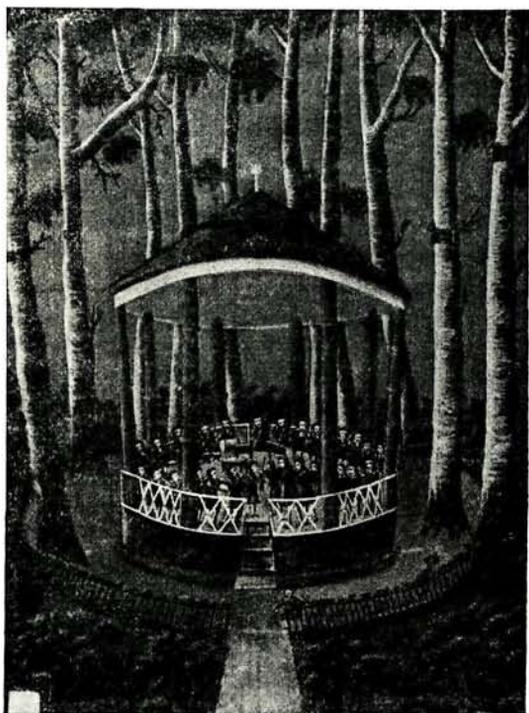
Сии несовершенствы оного состоят во первых в том, что нет в нем никакой приметной хорошей цели, какую бы по справедливости долженствовал иметь господин сочинитель при сочинении своего романа, но вся избранная им цель состояла в изображении только одного порока, но порока почти чрезвычайного и такого какой редко в людях быть может, а именно состоящего в беспредельной ревности матери к родной своей дочери, но ревности сопряженной с ненатуральной и зверскою ненавистью и такою лютою женщиной к своему рождению, которая делает ее сущим извергом человеческого рода. Во вторых, что вся повесть, содержащаяся в сей книге, не имеет никаких таких приятных особенностей, какими нынешние романы толико отличаются: но всего меньше походит на истинную, каковою она названа, но принадлежит прямо к простейшим романическим, какие писываны были в начале сего столетия и нам слишком уже сделались обыкновенными и прискучили. В третьих, что помещен в книгу сию без всякой нужды один посторонний эпизод, делающий ей сущее пятно, ибо описано в оном такое происшествие, какое свойственно только негоднейшим романам и которое сей властно как некаким дурным и гадким пятном марают.

Впрочем нет в книге сей ни малейшего нравоучения и никаких трогательных и таких мест, которые бы могли производить в душе читателя приятныя ощущения, а напротив того множество такого, что читает он чувствуя некую досаду и неудовольствие. А по всему сему и нельзя сказать чтоб роман сей принадлежал к хорошим и в особенности чтения достойным, а несмотря на всю славу сочинителя оного составляет он романчик самый посредственный недостойный никакого дальнего уважения и такой каких в свете очень много и которые добротою своею от нынешних хороших романов отстают весьма далеко и никак с ними сравнены быть не могут. Сверх всего того и самая малозна его составляет обстоятельство не весьма для него выгодное, ибо делает его таким, что он не может читателю произвести никакого дальнего удовольствия, а особливо благоразумному и читать хорошие романы привыкшему. Совсем тем нельзя же его причислить и к худым романам, ибо нет в нем ничего в особенности вредного, но он для многих особливо любящих маленькие романы читателей годится уже для чтения. А если б не было в нем помянутого гадкого, дурного и без всякой нужды помещенного происшествия или когда б оно описано было иным и скромнейшим образом, то можно бы было его по нужде дозволить читать и женщинам.

Впрочем особенного примечания достойно, что корректура при печатании сей книги не весьма была исправна, но во многих местах есть великие ошибки, чтож касается до перевода, то он довольно хорош, но к сожалению изгажен только несколькими провинциальными словами, которые для нашего слуха несколько [неразб.], как например называнием солнца «солнышком» или мятежных страстей «страстями мстительными осаждающими наше сердце» и так далее. Однако как не ничему иному как единой привычке господина переводчика, а неосмотрительности

КРЕПОСТНОЙ ОРКЕСТР КН. ЮСУПОВА  
В АРХАНГЕЛЬСКОМКартина маслом неизвестного крепостного  
художника конца XVIII в.

Музей-дворец, Архангельское



господ цензоров приписывать должно, которые бы легко могли такие безделки исправить, то и не составляет сие никакой дальней важности <sup>5</sup>.

ПРИНЦЕССА ВАВИЛОНСКАЯ СОЧИНЕНИЕ ГОСПОДИНА В\*\*\*. С ФРАНЦУЗСКОГО ПЕРЕВЕЛ ФЕДОР ПОЛУНИН. ПЕЧАТАНА В МОСКВЕ 1770 ГОДУ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ В 8 КРУПНЫМИ ДУРНЫМИ ЛИТЕРАМИ И НЕИСПРАВНО. СОДЕРЖИТ В СЕБЕ 174 СТР.

Имя сочинителя сей книги хотя господину переводчику оной на наш российский язык и не разсудилось велеть все выпечатать, а означено оно единою только литерою В\*\*\*, однако всему свету известно, что проистекла она из пера Вольтера бывшего в наш век толико известным в свете. Сего довольно кажется для преподания многим о книге сей уже некоторого предварительного понятия. Но как мнения и суждения о сем сочинителе не всех людей одинаковы и некоторые и его и все его суждения слепо обожая ценя им уже не ставят. Другие же не столь выгодного об нем и о его сочинениях мнения, но напротив того за полезнейшее для всей Европы и для всего человеческого рода почитают когда б сего француза и бессмертных его сочинений никогда на свете не было, то надобно и мне сколько нибудь при суждении моем о сей книге с помянутою разностию людей соображаться и сказать и тем и другим что нибудь об оной.

Итак что принадлежит до первых, то сим обожателям сего по мнению их величайшего из смертных мужа коротко только скажу, что они в сем сочинении еще найдут повсюду разбросанные черты великого разума и всего характера мужа толико их совершенствами своими очаровавшего, и могут читая и сие найти довольно пищи душам своим, буде они к таковым снедам уже привыкли.

Для сих и сия книжка прекрасна, хороша, изящна, неоцененна, божественна, остроумна, неподражаема, бессмертной похвалы достойна и все, что изволишь... и сего для них уже довольно.

Что касается до прочих, не дошедших еще до того, чтоб слепо обождать все то, что помянутым французом писано, то сим скажу, что ежели они хотят в сей книжке найти какойнибудь приятный роман, то они не найдут в ней никакой любопытной, хорошей и чтения достойной повести, а находится в ней единая только совершенная на наиглупейшим образом выдуманная и самая нескладная басня, наполненная такими вздорами, нескладницами и нелепиками, какие в баснях обыкновенно бывають и какие невозможно читать не удивляясь тому как могут такие вздоры вселяться в мысли самых иногда умных людей.

Однако сие в рассуждении сей книги неудивительно, ибо из всего сочинения сего видно, что у сочинителя всего меньше на уме было то, чтоб написать какуюнибудь хорошую, любопытную, разумную и трогательную историйку и тем услужить обществу так, как делали то некоторые другие славные ученые люди, например Гелерт, Виланд и другие тому подобные. Но он имел при сочинении сей басенки особливые виды: он имел гораздо лучшую, благороднейшую, изящнейшую, превосходнейшую и такового бессмертного безпримерного мужа достойнейшую цель. По достохвальному своему обыкновению ругаться над всем, что есть хорошее в свете, шпынять наизыветельнейшим образом над всеми истинами откровенного закона и над всем, что в свете за свято почитается. Шпынять над государями, над народами и над всем человеческим родом, низводить оной в равенство и собратство скотов, ополчаться против самого творца и всех известнейших и неоспоримейших исторических истин. Подкапывать наподобие татей здание всех наилучших учений в свете, вперять наихитрейшим и коварнейшим образом в умы смертных наивредительнейшие и опаснейшие сумнительствы, развращая злодейски сердца невинные и непорочные потравляя оные хуже нежели ядом и отравою губить людей душевно и телесно.

Посему, говорю, толь достохвальному, прекрасному, изящному и прямо бессмертной славы и похвалы достойному обыкновению, восхотелось ему и сие свое сочиненьице, о котором он шутя изволил говорить, что он им подарил в новый год своего типографщика, наполнить таким же ядом и отравою, каким по достохвальному своему обыкновению наполнял он все свои бессмертные сочинения, какие бы они ни были, пиитические-ли, исторические-ли, философические-ли, драматические-ли или иного какого рода, и разнища сочинения сего от прочих состоит в том, что изыскивая все удобовозможные праздные способы к развращению и гублению людей, восхотелось ему в сей раз все сокровищи великого ума своего и славные его произведения вплоть в форму басенки и в оной пошпынять хорошенько над законом, над истинами, над папою, над духовными, над некоторыми народами и над некоторыми из самих государей, властно так, как бы никаких иных средств ему уже не оставалось или властно так, как бы он средство не почитал в особливости удобным для распространений пагубных произведений ума своего не только между умными, но и в самом простом и неученом народе, как любящем читать лучше басенки, нежели важные сочинения. Ибо ревность его в сем великом и толикого бессмертия достойном подвиге была так велика, что ему не хотелось и сих бедняков оставить в покое, не заразив таким же пагубным ядом как и прочих. Вот какая была главная и довольно ясная и приметная цель сочинителя при сочинении сей книжки, а посему всякому беспристрастному человеку нетрудно

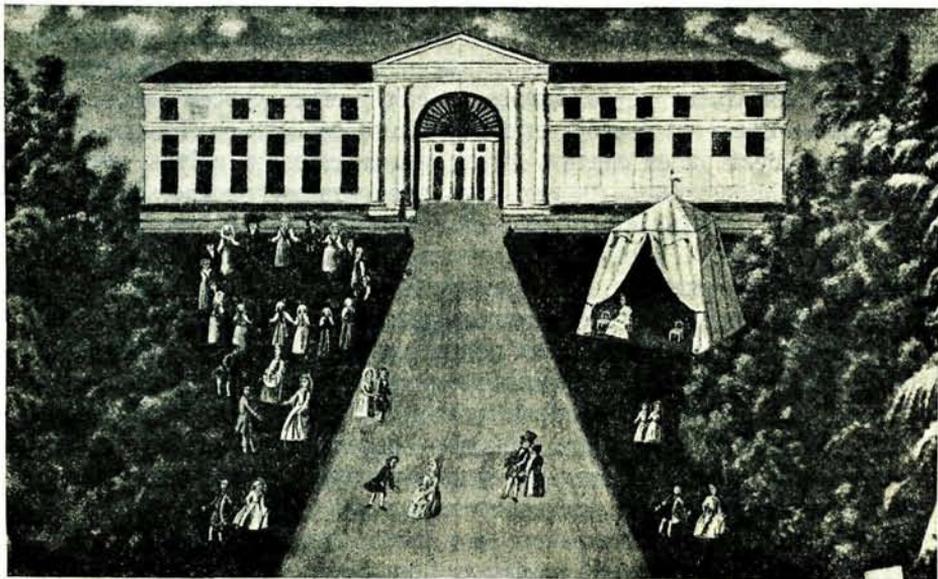
заключение сделать самому о качестве и доброте оной, так же и о том достойна ли она чтения или нет. А я в окончание только скажу, что мне очень жаль, что переведена она на наш язык и что трудился в том один из наших россиян. Есть кажется довольно и предовольно и не таких вздоров для переводов и можно б найтить что-нибудь и другое лучшее; а спознакомливание российской публики с таковыми тайным и сахаром облепленным ядом наполненными сочинениями кажется не слишком похвально и не может никак отнестись к чести господина Полунина, а всего бы лучше оставлять сочинениями сего француза пользоваться самим его соотчичам, или тем только, которые разумеют язык французский.

Довольно и между сих вреда они наделали, кажется нет нималой нужды распространять зло сие и между теми россиянами, которые языка сего не разумеют и книг Вольтеровых в оригинале не читывали и читать не могут.

Сего довольно будет о качестве сей книги, не приносящей ни малейшей чести господину переводчику, а того меньше самому толь славному ее сочинителю <sup>6</sup>.

СОФИЯ ИЛИ ПИСЬМА ДВУХ ПРИЯТЕЛЬНИЦ, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ ГРАЖДАНИНОМ ЖЕНЕВСКИМ, 2 Ч. ПЕРЕВЕДЕНА С ФРАНЦУЗСКОГО М. П. ПЕЧАТАНА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ В 1780 ГОДУ ИЖДЕВИЕМ КНИГОПРОДАВЦА МЕЙЕРА В ВОЛЬНОЙ ТИПОГРАФИИ ВЕЙТБРЕХТА И ШНОРА В 8, ЧИСТЫМИ ШНОРСКИМИ ЛИТЕРАМИ. СОДЕРЖИТ В СЕБЕ 218 СТР.

Хотя под именем «гражданина Женевского» и известен в ученом свете славной женевец Жан Жак Руссо, однако неизвестно мне точно его ли сие сочиненьце или какого иного гражданина Женевского. Но чье б оно ни было, но то по крайней мере достоверно, что оно не приносит сочинителю своему никакой дальней чести. Роман сей не принадлежит хотя к числу худых, однако и к числу самых хороших приписать его никак неможно. Приключений упоминаемых в сей повести происхо-



ВЪЕЗД В УСАДЬБУ АРХАНГЕЛЬСКОЕ

Картина маслом неизвестного крепостного художника конца XVIII в.

Музей-дворец, Архангельское

дивших будто в Голландии и описанных в образе писем пересланных между двумя приятельницами, очень мало. А главная особенность, отличающая сей роман от прочих состоит в изображении вольнодумством и безбожием зараженного голландца, влюбившегося втайне в родную свою сестру, имевшую у себя достойного любовника и сговоренную за него замуж. Он, скрывая долго гнусную свою страсть, злодейскими хитростями приводит ее у любовника в подозрение, доводит его до отчаяния и до смерти, мешает вторичному намерению ее выттить за другого жениха замуж, заманивает при помощи матери к себе жить. Хочет насильно выдать ее за своего друга таково-же негодяя, каков сам или еще худшего, а между тем делает ее сам чрез законопреступнический и злодейский свой поступок навек лишением чести несчастною, и по учинении сего злочестия уезжает и оставляет ее в отчаянии и покрытую стыдом и бесчестьем.

Вот в чем состояла главная цель господина сочинителя; но как она по существу своему не весьма похвальна, то нельзя книгу сию, писанную впрочем довольно изрядным слогом, слишком и одобрить. Ибо изображениями таковых редких и гнусных злодеяний, а притом имевших еще делаемой успех можно скорее нравы развратить, нежели исправить, и людей скорее заохотить к худу, нежели преклонить к добру. Сверх того надобно сказать и то, что и выработано самое важное место не весьма удачно и правдоподобно.

Но как бы то ни было, однако ту справедливость должно отдать господину сочинителю, что он повсюду в романе своем наблюдал правила благопристойности, и нигде не преступал пределы оной. Не помещено нигде им соблазнительных и таких сцен, которых бы женщинам читать было невозможно и нет ничего гнусного и отвратительного. Сего порока и несовершенства роман сей не имеет.

Что касается до прочего, то может он в некоторых местах душу читателя трогать чувствами единого только сожаления, но и то весьма слабо, но таких же мест, которые бы изображениями каких нибудь великих добродетелей или других радостных происшествий могли извлекать из очей читателя слезы удовольствия, в сем романе совсем нет, следовательно и не имеет он в себе самого лучшего свойства. Правда сочинитель хотя и постарался сделать конец книги сколько-нибудь приятным, заставя по прошествии многих лет преступника раскаяться и обречением своей от злодеяния происшедшей дочери так поразиться, что он от того умер. Героиню же повести и выдал хотя наконец за ее прежнего второго жениха, но сделано все сие так тупо и хладнокровно, что читатель почти вовсе тем не поражается. Сверх того и то в романе сем нехорошо, что иные письма наполнены уже слишком многими воззваниями и разглагольствиями романтическими так же, что при начале обоих частей, на которые роман сей без малейшей нужды разделен, ибо они и обе вместе кожного переплета не стоят, помещены вместо предисловиев письма, предсказывающие многое такое уже наперед, о чем бы читателю предварительно знать совсем бы не надлежало, ибо через то уменьшается много его любопытства.

Одним словом, маленький роман сей не без погрешностей и несовершенств и из худых вышел, но до хороших далеко ещё не дошел. Читать его хотя без скуки и с довольным любопытством можно, однако чтоб можно было получить от него дальнейшее удовольствие и чтоб он был

слишком любопытен, того сказать нельзя. Что касается до нашего перевода, то он довольно хорош, выключая только одного пункта, а именно, что господин переводчик слово *éroux* переводил *супругом*, а не *женехом*, как бы в самом деле надлежало, властно так как бы ему неизвестно было, что на французском языке слово *éroux* значит и жениха и супруга и что надлежит из обоих сих слов избирать то, которое существу материи приличнее и обстоятельствам свойственнее.

Впрочем книжка сия приписана Г. полковнику Александру Семеновичу Хвостову.

ЕМИЛЬ И СОФИЯ ИЛИ ХОРОШО ВОСПИТАННЫЕ ЛЮБОВНИКИ. ИЗ СОЧИНЕНИЙ ГОСПОДИНА РУССО. ПЕЧАТАНА В МОСКВЕ 1779 В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ НА ПИСЧЕЙ БЕЛОЙ БУМАГЕ И САМЫМИ МЕЛКИМИ ЛИТЕРАМИ В МАЛ. 8, СОДЕРЖИТ В СЕБЕ 116 СТР.

В надписи сей маленькой книжки хотя и неозначено кем и с какого языка она переведена, но в приобщенном к ней приписании к госпоже генеральше Елизавете Васильевне Херасковой то выполнено и означается что переводил ее некто господин Страхов, по имени Петр. А что переведена она с французского языка, то сие известно потому, что все сочинения славного Жан Жака Руссо писаны на сем языке.

Впрочем что касается до существа сочинения сего известного на французском языке под именем «*Solitaires*» или «Уединенных», то оное принадлежит более к нравоучительным, нежели к романам. Ибо приключений описанных в оной чрезвычайно мало, да и те совсем простые и обыкновенные, да господину сочинителю не было в том и пользы, а ему хотелось собственно в сей книге написать мораль нужную молодым девушкам и мужчинам, так-же молодым любовникам и супружникам, и одеть ее в романическое платье, дабы посредством вымышленной приятной повести можно было нечувствительно внушить им оную. Почему и начинается она пространним изображением всех тех качеств и совершенств, какие хотел бы он видеть в каждой хорошо воспитанной девушке, и которые замечания его действительно бесполезно со вниманием читать девицам. После этого приводит он к изображенной им героине повести своего воспитанника образованного стольким же тщанием, спознакомливает их между собою и заставляет друг в друга влюбиться.

Потом проходит он с ними все степени нежной благоразумной и целомудренной любви, а потом, разлучив их на два года, соединяет браком и предписывает правила какие молодым супружникам наблюдать следует.

В сем одном состоит вся повесть, однако, несмотря на то писана она так, что ее с удовольствием читать можно. Во всем слоге оной употреблено не только возможнейшее красноречие, но довольно нежности и приятности. Любовь изображаема тут самая непорочнейшая и основанная на постоянстве и добродетели, и изображены самые потаеннейшие ее стези, и весь план сочинителя выработан им довольно хорошо, хотя Впрочем нельзя не признать, что господин Руссо и в сем сочинение также как в своем Емиле натягивал струну уже слишком высоко и превосходил иногда уже и пределы натуральности. Он предписывал такие правила, которые удобнее могут почесться умообразительными, нежели удобопроизводимыми и такими, которые в самой практике могут быть наблюдаемы. Словом такие любовники, какими изобразил он своего Емиля и Софию существуют только в книгах и в умообразении, а в натуре едва ли подобных им отыскать можно. Да едвали когданибудь и могут быть таковые. Совсем тем нельзя, чтоб книжку сию

не причислить к числу хороших и таких, которые стоят того, чтоб их покупать и удостаивать чтением. Ни время, употребленное на сие, ни деньги, употребленные на покупку оной не могут быть потерянными, а и переведена книжка сия прекрасно. Честь сию можно отдать господину Страхову, а потому и можно сказать, что книжка сия нетолько не отягощает собою публики, но может еще служить украшением увеселительным библиотекам и стоять наряду с прочими хорошими сочинениями.

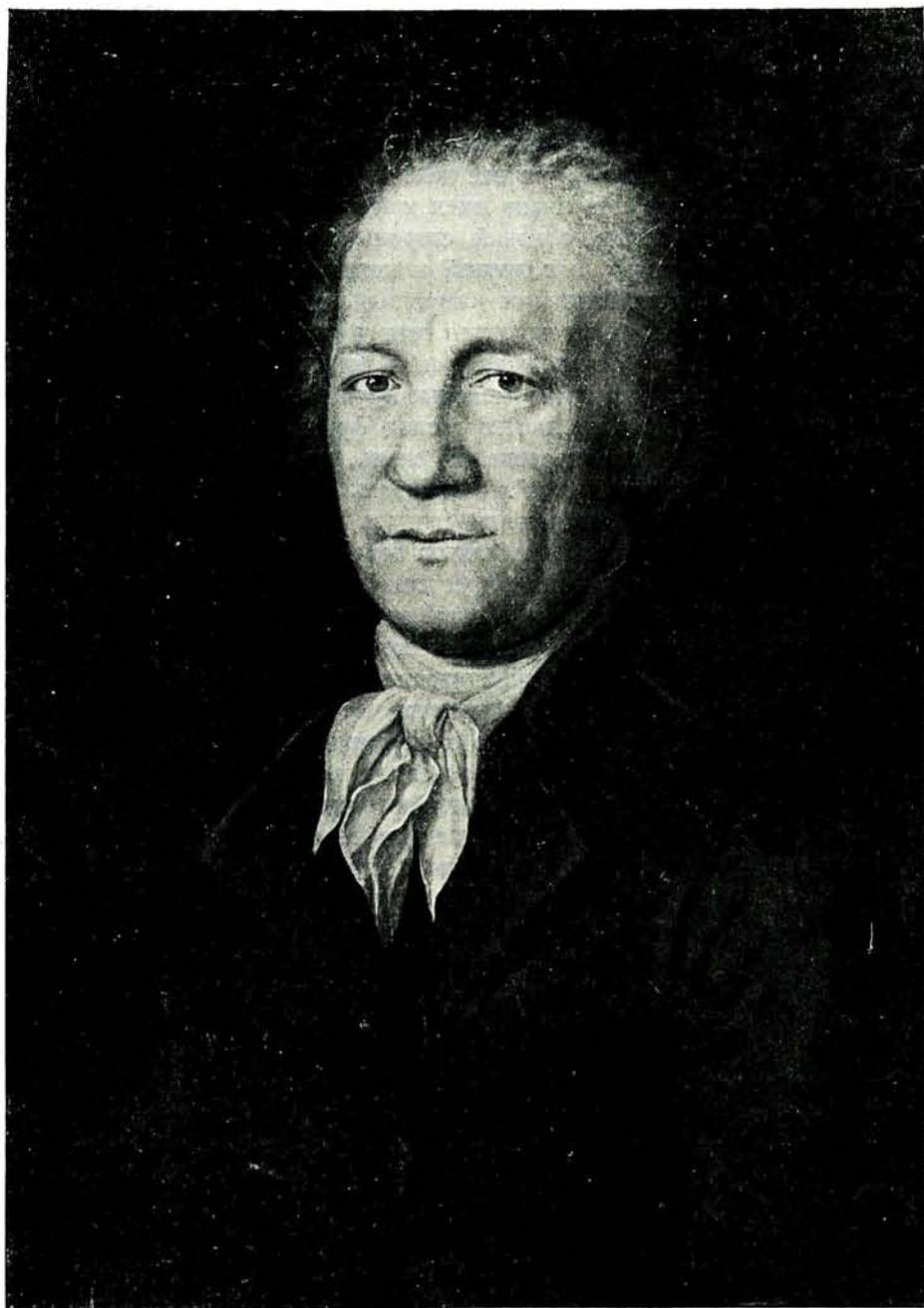
РОССИЙСКАЯ ПАМЕЛА ИЛИ ИСТОРИЯ МАРИИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ ПОСЕЛЯНКИ. 2 ЧАСТИ. СОЧИНЕНИЕ ПАВЛА ЛЬВОВА. ПЕЧАТАНА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ 1789 ГОДА. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ В ИМПЕРАТОРСКОЙ ТИПОГРАФИИ, А ВТОРАЯ ПРИ АКАДЕМИИ НАУК, В БОЛЬШ. 8, ЧИСТЫМИ ЛИТЕРАМИ, СОДЕРЖИТ В ОБЕИХ ЧАСТЯХ 237 СТР.

Как романов, писанных на нашем природном российском языке, а особливо таких, которые бы могли назваться прямо русскими, еще очень мало, и они так редки, что невозможно еще их набрать и десятка, а последних и того меньше, то сие обстоятельство делает книгу сию множайшего примечания достойною, нежели какого она по существу своему стоит.

Писал ее в наши последние и недавние времена один Россиянин, и Россиянин молодой и как по всему видимому заключить можно, писатель еще новый и в писаниях такового рода еще не довольно искусившийся, почему по справедливости и заслуживающий сколько с одной стороны похвалу за его трудолюбие и старание снабдить нас новым и нашим русским оригинальным романом, столько с другой извинение во всех сделанных им при сочинении сей книги и как думать надобно неумышленных погрешностях ибо и в пословице говорится, что первую песенку неинако можно как зардевши спеть. А ему, писавшему еще в первый раз, и пошедшему путем не довольно еще протоптанным и убитым, но пролагавшим так сказать новую стезю и тропу, и неудивительно, чтоб во многом непогрешить, а по самому тому нельзя и не извинить его в его ошибках.

Со всем тем излишним будет все сии ошибки или по крайней мере наглавнейшие из них означить, дабы они могли впредь и ему и другим новым сочинителям романов служить в некоторое предостережение.

Итак, что касается до самого плана и выдумки всей повести и сплетения всех частей ея: то план сей довольно хорош и так замысловат, что еслиб вырабатывало его другое и искуснейшее перо, то мог бы составить прекрасный и довольно трогательный роман. Сей план сочинителя и вообще все содержание сего романа состоит вкратце в том, что изображен тут один молодой и наследовавший после добродетельного отца великое имение русский дворянин, приехавший гонять с собаками в деревню, и влюбившийся нечаянно в одну деревенскую девку, дочь одного благодетельствованного отцом его и разумного однодворца. Сильная и беспредельная страсть доводит его до того, что он на ней без дозволения матери своей женится, но товарищ его, сущий плут и бездельник, но которого почитал он себе верным другом и которому во всем он вверился, употребляет во зло его к себе дружбу и доверенность и делает его несчастным. Он не могши убедить его употребить насилие и после воспрепятствовать его женитьбе рассоривает его с матерью, доводит ей до того, что она призывает к себе сына, а жену его велит без него согнать со двора и заставить скитаться по миру. А между тем сам обманывает, обкрадывает разоряет своего друга, вовлекает его в мотовство и во все пороки и ввергает наконец



А. Т. БОЛОТОВ

Портрет маслом работы неизвестного художника (1790-е гг.)  
Исторический Музей, Москва

в бездну бед и в самую крайность и отчаяние. Наконец брат несчастной однодворки записанной отцом Викторовым в службу и дослужившийся до офицерского чина и приобретший в службе довольный достаток, по нечаянности узнает несчастного Виктора и по добродушию выкупает его из долгов и соединяет его опять с его женою, а своей сестрою. А ложный друг его между тем также раскаивается и возвращает ему похищенное у него имение, чем все дело и кончается.

При выработывании сего плана имел как видно г. сочинитель главную цель то, чтоб изобразить с одной стороны хорошие качества низкого состояния добрых людей, а с другой и колико можно худшей стороны дурные свойства людей знатных и принадлежащих к большому свету, а вкупе с тем изобразить и характер одного такого бездельника и прощлеца, какими свет бывает наполнен и какими нередко разоряются и погубляются многие знатные молодые господа, а притом по достоинству посмеяться несколько насчет господ французов.

Намерения и цели сии хороши, но жаль, что выработка сего плана вылилась не очень удачна. Г. сочинитель впадал из одной погрешности в другую и на всяком почти шагу в новую. Ненатуральностей, неправдоподобий и натяжек очевидных, которых всего более писателям романов убегать бы надлежало, тут так много, что они встречаются почти на всякой странице, а к дальнейшему сожалению и слог сочинителя не повсюду единообразен, но местами довольно хорош и натурален, а в других изгажен многими излишностями и посторонностями нимало не принадлежащими к делу. Во многих местах, где надлежало б быть г. сочинителю короче, был он уже слишком многоглаголив и вдавался в сочинные и ненатуральные нравоучения, а напротив того там, где надлежало б ему быть гораздо пространныйшим, был он уже слишком короток и малоглаголив и к особливому сожалению в таких местах, которые моглиб придать наиболее приятности длинен, что в особливости приметно при конце книги. А всем тем и испортил много свою книгу и лишил ее приятности. Главнейшие ненатуральности, находящиеся в сей книге состоят наиболее в том что самая героиня сей повести Мария изображена уже слишком ненатуральною. Господину сочинителю угодно было сделать ее такую нежною красавицею и притом такую умницею и искусною в слоге писем, какою никакой подлой ее состояния и воспитания девке в нашей России быть невозможно. Далее приводит он в деревне гробницы, сделанные из чистейшего белого мрамора, нимало ненатурально. Самая скоропостижность и жестокость любви господина Виктора к Марии также слишком уже натянута, а и хороший характер Марии неизобразен как надлежало б живыми красками и самыми деяниями, а пересказан только на коротких словах, да и далеко не таков совершен, чтоб стоило ее назвать Памелою. Изгнание ее из дома мужнина и житье в избушке при одном монастыре также очень натянута и ненатурально, а скоропостижное обращение лже-друга Викторова, также упоминаемый остров с дикими, так ненатурально, что ни на что не походит. О шестилетнем пребывании Виктора в городе и его распутстве пересказано уже слишком коротко и также с превеликою натяжкою. Словом, конца бы не было еслиб пересказывать все то, в чем погрешил господин сочинитель, но от первого опыта, а особливо юного сочинителя была бы почти суцая несправедливость если б и хотеть лучшего и совершеннейшего требовать.

Но что касается до отваги господина сочинителя помещать тут же в сочинении своем многие совсем вновь испеченные и нимало еще необыкновенные слова, как например: «себялюбие, себялюбивый, белолынистая борода, флейтоигральщик, челопреклонцы, великодушцы, щедротохищники» и другие тому подобные; так в сем случае он совсем уже неизвинителен, и ему-б было слишком еще рано навязывать читателям подобные новости, а надлежало б наперед акредитоваться поболее в сочинениях.

А неосторожно ж он и в том поступил, что назвал книгу свою «Российскою Памелою», какого звания она далеко недостойна и от Рихарзеновой Памелы так удалена, как небо от земли.

Впрочем нельзя сказать, чтоб в книге сей находилось что-нибудь дурное, гадкое, соблазнительное и благопристойности противное, также что б не было в ней ничего хорошего и похвалы достойного; но в честь господину сочинителю сказать можно, что он во многих местах и при разных случаях изъяснял очень хорошие мысли и суждения здравые, а сатиры его на французов и на знатных господ и госпож довольно едки и куражисты.

Сверх того и вся книга вообще не так худа, чтоб ее не можно было читать без некоего удовольствия, а в местах трех или четырех есть и трогательные явления, но жаль только, что они выработаны худо и надмеру сокращены, ибо через то теряют они много своего действия.

Далее заметить и то можно, что роман сей, хотя и назван российским, но он далеко еще не таков, чтоб прямо мог назваться русским и каковыя желательно б чтоб у нас были. Тут нетолько не означено никаких российских мест городов и пределов, в которых происходили действия, но и самые имена употребляемы были не обыкновенные русские с прозвищами и отчествами, но вымышленные совсем необыкновенные, одинакие, а что того хуже означающие тотчас и характер тех людей, которыми они были называемы, например: «Плуталов, Честон, Премил, Многосулов, Милонрав, Милон, Картожил, Гордана, Скопидомова, Состарелова, Самолюбова» и прочие тому подобные; что все это пахнет более театральным, нежели романическим и не только романам неприлично, но без нужды уменьшает правдоподобие и натуральность, сохранение которой всего нужнее для романов.

А хорошо если б написал нам кто такой русский роман, в котором соблюдена была б наистрожайшим образом и натуральность и правдоподобие, и в котором бы все соображалось с российскими нравами, обстоятельствами и обыкновениями, но такого романа мы еще по сие время не имеем не единого и остается только желать такового.

Итак в окончании всего сказать можно, что книга сия, хотя и не может причислена быть к числу хороших, но по недостатку наших оригинальных русских романов и когда по пословице говоря «на безлюдье и сидни в честь бывают» уже довольно изрядна и ей можно уже дать где-нибудь местечко в библиотеках наших<sup>8</sup>.

ЗЕЛИ ИЛИ ТРУДНОСТЬ БЫТЬ ЩАСТЛИВЫМ. ИНДЕЙСКИЙ РОМАН С ПРИОБЩЕНИЕМ ПОВЕСТИ ЗИМИ. ПЕРЕВЕДЕНО С ФРАНЦУЗСКОГО. У КНИГОПРОДАВЦА Ф. МЕЙЕРА. ПЕЧАТАНА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ 1780 В ТИПОГРАФИИ ВЕЙТБРЕХТА И ШНОРА В 8, СОДЕРЖИТ В СЕБЕ 104 СТР. ЦЕНА 50 КОП. БЕЗ ПЕР.

Книжица сия небольшая, но имеющая в себе довольно хорошего и чтения достойного. Читатель найдет в ней не столько простой и обыкновенный роман, сколько философическое нравоучение одетое в платье

одной вымышленной и довольно замысловатой индейской басенки или сказочки, но которую читать может не без любопытства и удовольствия, а особенно к концу оной.

Что касается до повести, то вся она с начала до конца наполнена ясными ненатуральностями, неправдоподобиями и натяжками, а как сверх того как при начале оной так и при конце примещены в нее и явления духов, то все сие и придает ей более вид и существо басни, нежели романа. В ней представлен один молодой воспитанный в пустыне, света совершенно не знающий и одним духом великим богатством одаренный человек, пошедший в мир искать себе счастья. Тут по незнанию людей и как с ними обходиться впадает он в разные хлопоты и несчастья от правительства, от женщин и других людей. Наживает себе верного друга, которой старается его всячески наставлять и отвлекать от заблуждений и пороков, и для выведения его из ложного мнения об одной любовнице, на которой он хотел жениться, похищает у него умышленно все его богатство и чрез самое то подает повод к тому, что его правительство обвиняет в некоторых преступлениях и ссылает в ссылку. Словом он делается совершенно несчастным, но самое сие несчастье по особливому, хотя крайне ненатуральному, стечению обстоятельств обращается ему в пользу и он делается счастливым и находит своего друга в верности которого он сомневался.

Что касается до самого нравоучения, то оное можно почесть не столько основательным и здравым, сколько составляющим единую только игру мыслей и порождение единого разгоряченного воображения одного французского писателя, прилепленного, сколько повидимому заключить можно, к нынешней так называемой философии или лучше сказать неосновательному умствованию и пустому с у е м уд р и ю, недостойному ни мало носить звание истинной и здравой философии. А посему и невозможно искать тут ничего основательного и такого, что могло бы читателю обратиться в какую нибудь существительную пользу. Что касается до повести «Зими», которая приобщена к сей басне или индейской сказочке, то она совсем особливая, не имеющая с главной повестью никакого сопряжения, а притом самая маленькая, ничего дальнего в особенности не составляющая и основанная также на едином суетумудрии и умствовании нынешнем.

Причина, для чего она тут приобщена неизвестна, а думать надобно, что она либо того ж сочинителя, либо издателя сей книги для того присовокупить ее похотелось, что предмет ее с предметом главной повести одинаков, а именно относящийся до благополучия человеческой жизни, трудность приобретения которого хотелось сочинителю изобразить обеими сими сказочками. Однако с позволения его сказать можно, что материя сия выработана им не весьма удачно и хорошо, но вся книжка сия содержит в себе единственно только пустые умствования.

Что касается до нашего перевода сей книжки, то он довольно хорош, а и напечатана она хорошо, чисто и исправно, но кто ее и когда сочинял, также кто переводил, о том неизвестно.

Итак, по всем вышеописанным обстоятельствам можно книжку сию причислить в класс нравоучительных и таких маленьких романов, которые не совсем недостойны чтения, хотя впрочем в библиотеках удобнее ее становить наряду с нравоучительными баснями и сказочками, нежели с формальными и обыкновенными романами<sup>9</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> «Настоятель Килеринской» — перевод с французского, 6 частей, у Сопикова и у Смирдина обозначен двумя датами: СПб., 1765—1781 (Соп. 6617, Смир. 9041).

Из сочинений аббата Прево в России XVIII столетия наибольшей известностью пользовались «Приключения маркиза Г\*\*\*», оказавшие значительное влияние на русский роман приключений. Об этом упоминает И. И. Дмитриев в своих мемуарах: «Memoires du marquis au aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde» (1729), перевод Елагина и Лукина, 6 ч., СПб., 1756—1764. Второе издание 1780 г. Часть VII и VIII «История Маноны Леско», перевод с франц., М., 1790. В рукописи аналогичный роман маркиза Аржанса был известен с 1772 г. — «Приключения кавалера Д.»

Прево д'Экзиль (Antoine-François Prévost d'Exiles, 1697—1763) родился в семье королевского нотариуса и в лучшем случае мог быть признан дворянином мантии. Оставалась только духовная карьера. Прево оказался к ней мало склонен. Он вынужден был бежать в Англию, так как многие из его поступков не вязались с его саном. Аббату не могли простить романы страстей. «Манон Леско», представлявшая собою часть «Истории кавалера Г.», впервые была напечатана в 1731 г. Книга была приговорена во Франции к сожжению. Романы Прево, в которых отразились социальные противоречия биографии автора, своей тематикой расчищали путь прозе буржуазии.

<sup>2</sup> «Похождения некоторого россиянина» принадлежат к мемуарно-анекдотической прозе. Они могут быть причислены к таким книгам, как «Десятилетние странствования унтер-офицера Ефремова», СПб., 1786 г., пер. Каржавина, «Несчастные приключения Василия Баранщикова», 1793, «Странные приключения Димитрия Матушкина, российского дворянина, описанные им самим на испанском языке, с которого переведены на немецкий, а с него на российский язык», 1796 г.

Вставными новеллами и сказками «Похождения некоторого Россиянина» тяготеют к прозе Чулкова.

В предисловии автор указывает на то, что пишет он «не витиеватым и пышным, но простым слогом, по причине неупражнения в свободных науках».

<sup>3</sup> Резкий отзыв Болотова о романах Ф. Эмина совпадает по времени с переоценкой романа приключений. В России расцвет этого романа падает на 60-е годы. Так называемый ложноклассический роман, имевший огромный успех в наиболее широких слоях читателей, изгоняется из большой литературы на лубочный рынок, в провинцию, но продолжает существовать подпольно. О популярности Эмина свидетельствуют издания «Непостоянная Фортуна или похождения Мирамонда», 3 ч., выходит в 1763, 1781 и 1792 гг., «Любовный Вертоград», выходит двумя изданиями (1763, 1780 гг.). Резкость Болотова может иметь своим основанием и то, что издатель «Адской Почты» был настроен значительно радикальнее Болотова.

<sup>4</sup> Лоазель де Треогат — Loaisel de Treogate (Joseph-Marie), род. в Бретани в 1752 г., ум. в 1812 г. Служил при Людовике XVI в личной охране короля (см. P. Larousse. — «Grand dictionnaire universel»; Lanson. — «Manuel bibliographique de littérature Française moderne» и статью D. Mornet. — «Un préromantique; le soires de la Melancolie» de Loaisel de Treogate. «Revue d'histoire Litteraire de la France», 1909.

У Сопикова указаны две книги Треогата: «Вальмор» (М., 1781 (Соп. 2377) и «Вальмор и Флорелло», две повести, М., 1802 (Соп. 2378). В 1816 г. Иосиф Тукалевский перевел «Элоиза и Абельяр, жертвы любви, роман исторический и нравственный Лоазеля Треогата» (см. Смирд. 9581). В Париже «Вальмор» был впервые издан в 1776 г. Библиографию произведений Треогата см. в «La France Litteraire dictionner bibliographique», t. V, p. 328.

<sup>5</sup> Отношение Болотова к Руссо совпадает с типичными для 90-х годов XVIII столетия настроениями. В Екатерининское царствование, в период, предшествовавший разгрому масонства и боязни Великой французской революции, Руссо находит широкий круг читателей при дворе. Графы Орловы, Григорий и Владимир, приглашают Руссо в Россию, граф К. Г. Разумовский предполагает подарить ему свою огромную библиотеку. И не случайно пора преклонения перед Вольтером и Руссо совпадает с отменой звания раба. Одновременно философия Руссо оказывает значительное влияние на развитие буржуазных идей передовой части русского дворянства. Еще Новиков в «Живописце» объявил Руссо «образцом славнейшия в нашем веке человеческия мудрости». Под значительным влиянием Руссо слагалась идеология Радищева. И все же в большей степени, чем идеология Руссо, в России привился стиль сентиментального руссоизма. Руссоизм создал новое обаяние вокруг уже разработанных жанров: пастушеская поэзия, идиллия раскрыли русским

писателям тот индивидуалистический «чувствительный» угол зрения на мир, для которого уже существовала почва в среде русского дворянства. В дальнейшем руссоизм помог легко освоить позже пришедшие произведения молодой буржуазии: «Грандиссон», «Вертер», «Сентиментальное путешествие». На этой же почве возник карамзинизм, крайне аполитичный по сравнению с западным «революционным» сентиментализмом.

Болотов оказался в числе тех, для кого внешняя сторона руссоизма была наиболее заметна и существенна. С этой стороны Болотов принимает и Карамзина: «Он (Карамзин) многих переучил хорошему и приятному слогу и произвел многих себе подражателей» (см. «Современник или записки для потомства» 1795 г., частично опубликованный Губерти в «Библиографе» 1885, №№ 9, 10; 1886, №№ 1, 2).

Первые переводы из Руссо появляются в журналах с 1762 г. В IV части «Собрания лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия» было напечатано «Письмо господина Руссо к Вольтеру» по поводу поэмы последнего о разрушении Лиссабона, с краткой характеристикой Руссо.

В 1767 г. печатается «Рассуждение, удостоенное награждением от Академии Дижонской в 1750 г. на вопрос, предложенный сею Академиею, что восстановление наук и художеств способствовало ли ко исправлению нравов». Переизд. 1787 и 1792 гг.

В 1769 г. в Москве выходит «Новая Элоиза или письма двух любовников», ч. I, в пер. П. Потемкина, в другом переводе две части выходят в СПб. в 1792 г. и в новом переводе А. Л. Палицына печатаются уже в начале XIX столетия (1803—1804).

До 1779 г. печатается еще шесть книг Руссо (см. В. И. Рязанов «Из разысканий о сочинениях Жуковского», вып. II), в 1779 г. в Москве печатается «Эмиль и Софья» в пер. Страхова и СПб. в пер. Виноградова в 1800 г.

В 1806 г. Жуковский предполагал издание собрания сочинений Руссо; намерение это однако осталось невыполненным.

<sup>6</sup> Отношение Болотова к Вольтеру характерно для клерикально и крепостнически настроенной и реакционной, несмотря на отдельные буржуазные тенденции, части дворянства. В своих записках венецианец Казанова писал: «Говоря о французских книгах, я разумею сочинения Вольтера, которые для москвитов представляли всю французскую литературу» («Р. С.» 1874, т. IX). И действительно, популярность Вольтера не только при дворе Екатерины, в пору кокетничания с энциклопедистами, но и во всех слоях дворянства была чрезвычайно велика. В поощренной Екатериной «Комиссии для печатания на русском языке хороших иностранных книг», открытой в 1768 г. под руководством Г. В. Козицкого, В. П. Орлова и А. П. Шувалова, для начала были намечены сочинения Вольтера; в театре все чаще давались его пьесы (см. Д. Д. Языков «Вольтер в русской литературе» — «Древняя и Новая Россия», 1878, № 3). Ему покровительствовал кн. А. М. Белосельский-Белозерский, Дашкова, кн. Д. А. Голицын. Из литераторов приверженцы Вольтера оказались среди продолжателей сатирической журналистики 1769 г.

Но как и в Европе, популярность Вольтера отчасти была отголоском борьбы внутри самого дворянства. Во второй половине столетия в России были напечатаны книги против Вольтера, близкие по настроению высказываниям Болотова.

В 1787 г. в Москве выходит «Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями и опровержение их вредных правил», сочинение Россиянина (изд. Новикова). В этом же году печатается «Обнаженный Вольтер», пер. с франц. В 1792 г. в СПб. появляется «Изобличенный Вольтер», компилятивный перевод Терция Берноволокго, племянника Музиной-Пушкиной, как выясняется из дарственной надписи экземпляра Ленинградской Г. П. В. В 1793 г. выходят двухтомные «Вольтеровы заблуждения, обнаруженные аббатом Нонотом», пер. студента богословия Воронежской семинарии. Тенденцию этих сочинений раскрывает в своем предисловии Берноволокго: «Цель моя в издании есть та, чтобы показать юношам, сколь лживо и дерзко писал о религии г. Вольтер».

Под ненавистным «вольтеризмом» (термин Болотова) для Болотова выступали идеи рационалистического материализма вплоть до Гольбаха и Гельвеция, которые нельзя было примирить с религиозным зультероым сентиментализмом.

Почти все романы и повести Вольтера во второй половине XVIII столетия были переведены на русский язык. Отдельными изданиями вышли «Задиг», 1765—1766 гг., 2-е изд. 1788 г., 3-е—1795 г. «Кандид», изданный впервые в 1769 г., имел четыре переиздания. «Принцесса Вавилонская» в первом издании вышла в 1770 г., остальные три в 1781, 1788 и 1789 гг.

<sup>7</sup> «Эмиль и София» — пятая книга «Эмиля» Руссо, из которой выброшены первые несколько глав.

<sup>8</sup> Львов, П. Ю. (1770—1825)—автор чувствительных повестей и элегий в прозе. Начал свою литературную деятельность в «Московском Журнале» Карамзина, сотрудничал в «Ипокрене» (1801), «Новостях Русской Литературы» (1802), «Журнале Рос. Словесности» (1805). А. И. Клушин в «Зрителе» прозвал его Антирихардсоном и Миниатюркиным. В своей литературной работе до конца XVIII столетия Львов был типичным представителем сентиментализма, несмотря на то, что разошелся с Карамзиным, и в 1804 г. был избран в члены Российской Академии, присудившей ему в 1806 г. золотую медаль за «Похвальное слово царю Алексею Михайловичу». «Российская Памела» тесно связана с переводами Ричардсона. За два года до появления «Памелы» Львова в 1787 г. была напечатана «Памела» Ричардсона, в 1791—1792 гг.—«Кларисса Гарлоу», в 1793—1794 гг.—«Грандиссон».

<sup>9</sup> В «Материалах по библиографии истории и теории русского романа» В. В. Сиповского, ч. I, XVIII век (стр. 36, № 464) автором «Зели» указан де Фурке.

В «Catalogue général des livres imprimés de la bibliothèque Nationale», p. 189 имеется—«Zély, ou la Difficulté d'être heureux», roman indien [par M-me de Fourqueux]. Suivi de Zima et des Amours, de Victorine et de Philogene [par l'abbé de Voisenon] publiés par A. M. Dantou—Amsterdam—Paris, 1775.

В «Catalogue général» указаны еще два произведения Фуркье—«Julie de St.-Olmont, ou les premières illusions de l'amour» par M-me \*\*\* (de Fourqueux), Paris, Dentu 1805 и «Amélie de Tréville ou le solitaire» par M-me \*\*\*, auteur de «Julie de Saint-Olmont», Paris, Dentu, 1806.

Болотов относился к «Зели» отрицательно как к вольтерьянскому произведению.